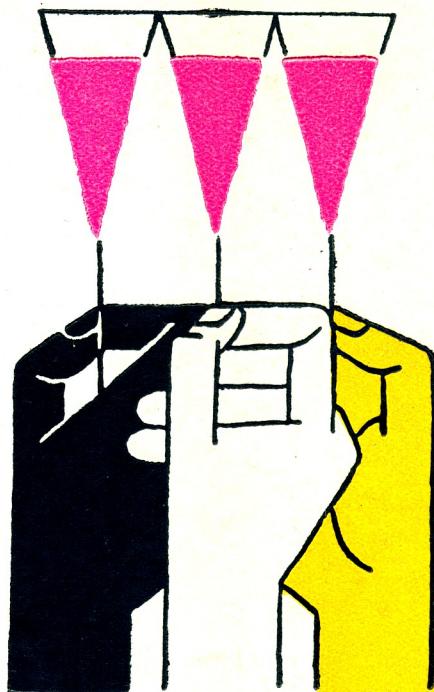


10.335  
1962/2



ეროვნული  
ბიბლიოთეკა



ЛИТЕРАТУРНАЯ

ГРУЗИЯ

9

1962

10.335 /  
1962 / 2

# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

ОРГАН  
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ  
Год издания шестой

## СОДЕРЖАНИЕ

9

|  |   |    |
|--|---|----|
| ХУТА БЕРУЛАВА.                               | Сказание о рождении Тбилиси.<br>Поэма. Перевод с грузинского Б. Окуджава                        | 3  |
| ТАМАЗ ЧИЛАДЗЕ.                               | Прогулка на пони. Повесть. Перевод с грузинского А. Беставашвили. Продолжение.                  | 7  |
| МАКВАЛА МРЕВЛИШВИЛИ.                         | Из цикла «Сувениры». Перевод с грузинского Б. Окуджава  | 21 |
| МОСЭ ГВАСАЛИА.                               | Новоселы. Рассказ. Перевод с грузинского Г. Джандиери   | 24 |
| СЕРГО ЛОМИНАДЗЕ.                             | Стихи   | 32 |
| ВАХТАНГ ЧЕЛИДЗЕ.                             | Жизнь без конца. Биографический роман. Авторизованный перевод с грузинского Б. Гасса. Окончание | 34 |
| К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ<br>Д. КЛДИАШВИЛИ |   |    |
| ОТАР МАМПОРИА.                               | Давиду Клдиашвили. Стихи. Перевод с грузинского Т. Задонской                                    | 74 |
| СЕРГИ ЧИЛАЯ.                                 | Большой художник  | 75 |
| КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ                       |   |    |
| ГУРАМ КАНКАВА.                               | «Десница великого мастера» К. Гамсахурдия   | 80 |

СЕНТЯБРЬ  
1962

См. на обороте



|   |    |
|---|----|
| Г. БЕБУТОВ. Александр Калюжный — друг Максима Горького    | 85 |
| МАРГАРИТА ДОНДУА. К. Бальмонт на уроках грузинского языка | 91 |

## ПУБЛИЦИСТИКА

|   |    |
|---|----|
| ВАХТАНГ МОДЕБАДЗЕ. Как родилась и выросла грузинская лоза | 93 |
| ТЕНГИЗ ХОШТАРИА. О настоящем и будущем виноделия          | 95 |

Обложка работы худ. Р. Кон.

**Редактор К. ЛОРДКИПАНИДЗЕ**

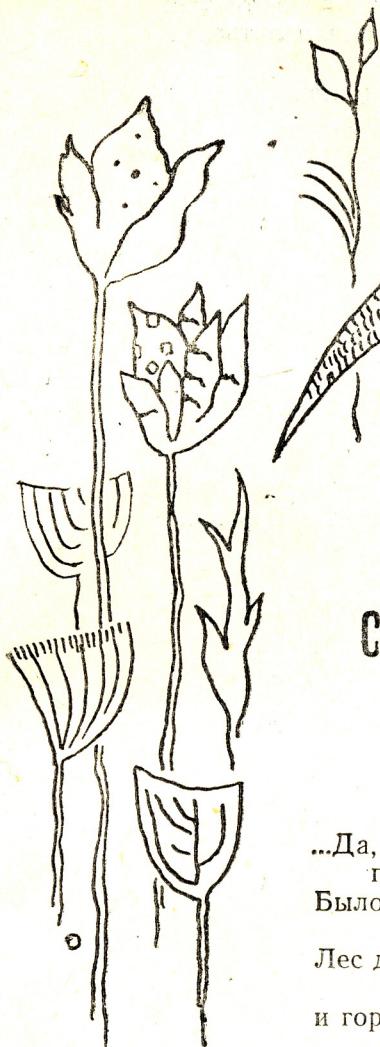
**Редакционная коллегия:**

**Э. АНАНИАШВИЛИ, М. ЗАВЕРИН, М. ЗЛАТКИН, А. КУЗЬМИЧЕВ,  
Л. КУТЕЛИЯ, В. МАЧАВАРИАНИ, Э. ФЕЙГИН, Д. ШЕНГЕЛАЯ.**

**Заместитель редактора Э. ЕЛИГУЛАШВИЛИ.**

---

Адрес редакции: Тбилиси, ул. Махарадзе, 14, тел. 3-44-08



Хута Берулава

## Сказание о рождении Тбилиси

ПОЭМА

Перевод с грузинского Б. Окуджава

1

...Да, стрела Горгасала  
под Мцхетой фазана поранила.  
Было давнее утро,  
почти позабытое, раннее.  
Лес дремучий шумел,  
непонятные травы цвели,  
и горячий источник,  
как кровь клокотал из земли.  
И подбитый фазан  
у источника этого корчился,  
он из сил уже выбился, выдохся,  
он почти уже кончился.  
Он не видел уже ни земли под собой,  
ни небес над собой...  
Но его окропили горячей водой голубой.  
И тогда вдруг взметнулись  
широкие крылья фазаны.  
Слуги царские вскрикнули  
странными голосами:  
«Эту воду бессмертия, боже, навеки храни!»...  
И со страхом четырежды перекрестились они.  
Встал Вахтанг Горгасал  
и сказал свое властное, царское:  
«Не пристало дела мне решать суetливо и наскоро  
Но я вижу, что Мцхета отныне должна уступить:

быть Тбилиси столицею, новой столицею быть.  
В этой маленькой крепости наша надежда таится:  
здесь горячие воды бессмертья изволили литься»...  
Сел в седло государь.

Добрый конь закусил удила  
и помчался к той маленькой крепости,  
словно стрела.



2

Эй, плотники! Каменотесы!  
И повара, и водоносы!  
Кто от труда не занемог!  
Кто не из царства лежебок!  
Эй, настоящие мужчины!  
Эй, настоящие грузины!  
Сходитесь делу послужить,  
чтоб новый город заложить!  
Когда войны шаги раздавались грузные,  
от мала и до велика все поднимались в Грузии.  
И, у небес разрешения не испросив,  
брали оружие, слыша свободы призыв.  
Когда улыбалась грузинскому войску победа,  
бывала воспета победа нелегкая эта.  
И враг никогда не умел разорвать этот круг,  
Что составляли дружба, сабля и плуг.  
Вот и теперь по призыву они собираются,  
родине милой они послужить постараются.  
И по обычаяу, предки который ввели,  
каждый с собою берет по щепотке земли.

3

Может столько веков,  
 сколько цепь эта синяя горная,  
неприступная крепость Армази  
стоит, молчаливая, гордая.  
Вот качнулись ворота дворцовые,  
 радости полные,  
и царю развеселые радуги  
 хлынули под ноги.  
Словно реки к морям  
 подступают широкими устьями,  
так сходились к царю мастера,  
не отыщешь искуснее.  
Вот стоят кахетинцы, своими делами известные,  
и готовы к работе их мудрые руки железные.  
Вот, как волны Риони стремительны и едины,  
из-за Лихи спешат перевалами имеретинцы.  
Но гудит и волнуется древняя горная Мцхета:  
Неужели забвение ей обещает все это?  
И сказал Горгасал,  
 улыбаясь, гордясь и надеясь:  
«Вся Колхида сошлась.  
 Все эгрисское войско слетелось!»

И Месхети, взгляните-ка только!  
И Рача-Таквери...  
О, во многих делах  
мой народ закален и проверен!

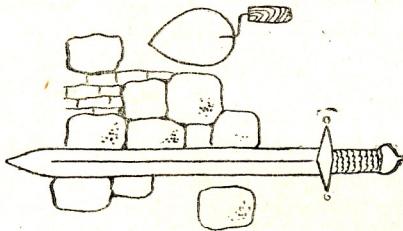
О, не раз они шли,  
за родимую землю стараясь...»  
Вот хевсуры и сваны стоят,  
на мечи свои опираясь.  
Вся земля поднялась,  
все сошлись, все сбежались, слетелись.  
Нет таких мастеров,  
чтоб по дальним углам засиделись.

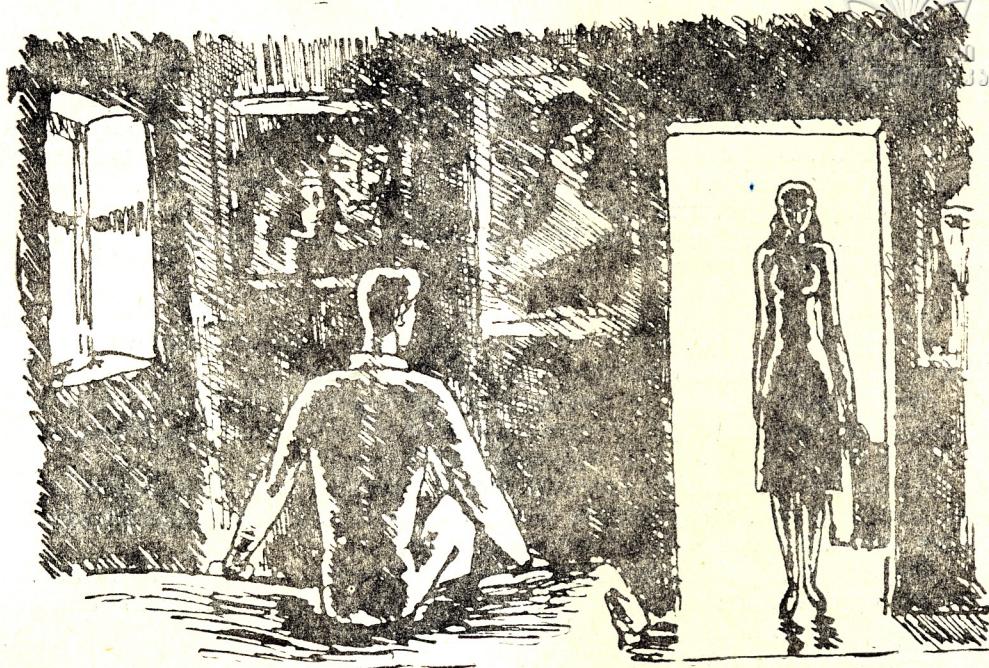
Время шло. И сверкали его разноцветные крылья.  
Мастера основание нового города рыли.  
И по горсти земли, принесенной со всех уголков,  
в основание бросили. Чтобы на веки веков.  
Поднимался тот город стремительно, — с каждым  
мгновеньем.

И услышал Вахтанга он мудрое благословенье.  
И простер он тогда над Курою два сильных крыла...  
И притихшая Мцхета свой голос тогда подала:  
«Я ведь тоже за Картли пострадала сполна:  
то война, то пожарища, то снова — война...  
Разве это не так, о моя страна?  
Горькая, гордая моя страна...  
Разве не со стен моих голос трубы  
тебя, мой народ, поднимал для борьбы?  
Разве не я тянула с тобой  
суровую лямку нашей судьбы?  
Разве я падала трусливо в бою?  
Разве не хранила я вольность твою?  
Враг приходил выжигать и косить,  
но разве он смог меня погасить?..  
О новый город, вот ты какой!  
Я молча склоняюсь перед тобой.  
Во имя Родины и любви  
благославляю тебя. Живи».

Я по Колхиде шел, и то сказанье  
заголубело вдруг перед глазами.  
И звон столетий на меня обрушился,  
как будто клад внезапно обнаружился.  
— А правду ли твердят легенды эти? —  
Телави я спросил и Триалети.  
Спросил у старой башни Нарикала,  
чтобы во лжи меня не упрекала.  
Спросил у гор я и спросил у высси,

у мученицы сказочной Крцаниси.  
И я в ответ, как грохот водопада,  
со всех сторон услышал: — Правда! Правда!..  
Я ничего не выдумал, я вслушивался,  
как водопадом пестрый клад обрушился.  
Я просто подхватил народом спетое.  
Я просто шел, его дорогой следуя.  
Я весь в долгу пред ним, святым и гордым,  
перед Тбилиси — древним моим городом.  
Как расплачусь, что я сумею выплатить?  
Не выплатить, хоть сорок бочек выкатить.  
Хоть весь Тбилиси в грудь свою вмешу я,  
не выплачу, и слова не сыщу я.  
• Мне лишь бы с ним — всегда и до последнего,  
чтоб он и я... И чтобы без посредника.  
И чтоб легенда эта не скудела,  
а чтоб она как голос гор гудела.





Тамаз Чиладзе

## Прогулка на пони

ПОВЕСТЬ

Перевод с грузинского А. Беставашвили

Рис. Д. Эристави

- Ты всегда стараешься мне противоречить...
- Неправда, я всегда с тобой соглашаюсь...
- Нет и нет! Ты соглашаешься, но в душе думаешь по-другому...
- Так и должно быть!
- Почему?
- Потому что я живу, а ты все мечтаешь...
- Я не понимаю... и если говорить начистоту, я многоного в тебе не понимаю.
- Жаль!
- Дато, не говори так спокойно...
- Я вообще редко волнуюсь... Знаешь, наши разговоры просто смешны... Ладно, не сердись... Только иногда ты должна меня слушать.
- Я и так слишком много тебя слушаю и чувствую, как что-то теряю... все время... что-то очень дорогое...
- Маринэ, иди ко мне...

Продолжение. Начало см. в журнале «Литературная Грузия» № 8, 1962 г.

— Оставь...

Раньше Маринэ жила совсем иначе. Беспечно, всегда в окружении поклонников. Она никогда не думала, что что-нибудь может измениться. И что должно измениться?! Каждое ее слово ловят внимательные уши, и в ответ — вежливые улыбочки. Она многим нравилась и получала удовольствие, когда влюбленные парни терялись и краснели в поисках слов для объяснения. Она была весела и уверена в себе, и ей совсем не нужно было обдумывать свои слова и поступки.

«Ника... он один меня любил... по-настоящему... Господи, неужели я такая глупая?...»

Ветер дул с утра. Море бушевало, и хотя солнце светило вовсю, отыдающие не ходили на пляж.

Море было бурное, а местами по-прежнему зеленоватое. Оно с разбегу кидалось на берег, терлось плечами об острые камни, снова отходило и напрасно билось о землю косматой головой.

Берег был песчаный — лучшее место на побережье. За пляжем начиналась деревня. Игрушечные домики с красными черепичными крышами застыли в гуще эвкалиптов и тополей.

Маринэ и Дато смотрели на море. Дато снял сорочку и свистел, обхватив руками колени. Дато не умел свистеть. Он свистел очень плохо, некрасиво выпятив губы, но с видимым удовольствием.

— Видишь, какого цвета море?

Не переставая свистеть, Дато кивнул.

— Зеленое и черное...

В деревне жили рыбаки. Они целыми неделями пропадали в море, иногда ходили в Крым.

На заборах всегда сушились сети, и парами стояли весла.

Дети голышом кувыркались в песке и бегали по берегу.

Деревня была очень маленькая. Она начиналась и кончалась у самого моря. И сама была как крошечная его частица — маленький мирок, отвоеванный людьми, пропахший рыбой и солью.

На берегу стоял навес, куда прятали лодки и бочки во время ливней. В дощатой стене резко выделялась голубая доска с черными буквами: «Чайка».

Высокая худая женщина посадила ребенка в полосатую тень от стены и посмотрела на море из-под ладони.

— Рыбаки всегда опаздывают... — Маринэ улыбнулась. — Черт знает ваши мужские пути-дороги!

Она встала, и Дато увидел все ее облитое розовым солнцем тело, длинные ноги и мальчишески узкие бедра.

— Маринэ...

Она пошла к морю в своем красном купальнике, осторожно ступая по камням и склоняясь тонкой талией.

— Маринэ...

Она оглянулась.

— Не надо. Море неспокойно...

Волна с разбегу налетела на нее и всю обдала брызгами. Маринэ отскочила назад и засмеялась.

— Сердится...

Но опять вошла в воду. Теперь уже глубже. Волна тоже не уступала — сбивала ее с ног. Маринэ смеялась, падала, вставала, отталкивала руками волну, словно хотела отодвинуть все море, и смеялась.

— Маринэ, выходи!



Она не слышала.

— Девушка, выходите. С морем не шутят, — строго сказала высокая женщина.

Маринэ повернулась лицом к берегу, и ее стройное тело постепенно высвобождалось из воды. Она встала на мокрые камни и поскользнулась.

Дато подошел ближе.

— Дай руку.

Маринэ не смотрела на него. У нее дрожали губы.

Подошла та самая женщина со своим ребенком и сказала мягко:

— Так нельзя, девушка...

Маринэ легла в песок и подложила под голову руки. Она смотрела в небо.

— Может, пойдем, — предложил Дато.

— Дато, ты боишься вот такого моря?

— Конечно.

— А те, кто сейчас в море, они боятся?

— Не знаю, наверное...

— Но ведь они любят море...

— Да, любят.

— А можно бояться и любить одновременно?

— «Страх рождает любовь!» — продекламировал Дато.

Молчание.

— Дато, я тебя не боюсь.

Он взглянула на нее. Она все лежала и смотрела в небо. Спешили куда-то белые кудлатые облака.

— А зачем меня бояться?

— Я просто так сказала.

С изгороди спрыгнул петух, покопался в песке, потом степенно пошел к морю. Он был такой яркий, этот красный глупый петух, на пустом и светлом берегу. Он казался огромным, и хвост и гребешок покачивались торжественно и плавно.

Петух остановился. Высоко задрал голову и закричал.

— Этот петух сведет меня с ума! Он орет днем и ночью!

Маринэ встала:

— Пошли. Мне холодно.

На лестнице сидел солдат в тяжелых сапогах, гимнастерке и галифе. Несмотря на жару, он был застегнут на все пуговицы. Пилотку он подложил под погон. У солдата веснушчатое лицо и очень светлые волосы. Лицо и руки красные от солнца. Он сидел и грыз семечки. Казалось, что он здесь в гостях. На самом деле солдат жил в этом доме. Приехал на десять дней в отпуск. Маринэ и Дато снимали комнату у его родителей. Солдат встречал их всегда приветливо, вставал, когда здоровался, и на Маринэ поглядывал со смущенной улыбкой.

С первого же дня его приезда родители заметили в поведении сына что-то странное. Да и невестка встретила мужа сухо и безразлично.

Целый день солдат бродил по двору. Всегда застегнутый на все пуговицы, готовый бежать по первому сигналу, он часами стоял у забора или сидел на лестнице. Жена кормила кур, стирала и без всякой причины шлепала малыша в рубашонке с крапинками, едва закрывающей пуп.

Солдат делал вид, что ничего не замечает. Только однажды подозвал к себе ребенка:



— Иди, Гогиа, иди сюда...

И протянул ему полную горсть семечек. Жена ударила его <sup>помру</sup> ~~злобно~~ и семечки рассыпались по земле.

— Ты что, хочешь, чтобы он подавился?

Старик-отец, наконец, не выдержал:

— Что с тобой, парень?

— А что?

— Вроде ты не в себе!

Солдат молчал.

— А почему ты не выходишь в море?

— Да не знаю...

— И лодку нашу не посмотришь?

— Лодку...

— Ну да, лодку.

— Как же, посмотрю...

— Ну вот и иди...

— Пойду, конечно...

Утром солдат остановил Дато во дворе. Взял его за руку повыше локтя и отвел к воротам. Он оглядывался по сторонам, как будто боялся, что их увидят.

— Можно у вас спросить?

— Пожалуйста...

Дато удивился, но не подал виду и сделал очень серьезное лицо.

— Только вы правильно меня поймите...

— Постараюсь...

— Ваша жена...

— Что?

— Это ведь ваша жена?

— Да, жена...

— Вы не удивляйтесь, что я спрашиваю...

— Спрашивайте...

— Вы любите ее?

Дато высвободил руку, сделал шаг назад и посмотрел на солдата.

— Я так и думал, — сказал солдат, — я знал, что вы удивитесь.

— Я не понимаю, зачем вы это спрашиваете?

— Эх, если бы вы знали...

«Он или дурак или нахал», — подумал Дато.

— Вы думаете, что я не совсем того... — солдат улыбнулся, — да, наверное...

— Нет, почему же, — Дато не знал, что отвечать.

— В том-то и беда, что я другую люблю...

— Как другую? — не понял Дато.

— Я женат...

— Знаю...

— Ну вот, а люблю другую.

Дато молчал и смотрел на солдата.

— Я никому об этом не говорил. Решил сказать вам... ведь мы ровесники...

— А кто эта другая? — спросил Дато и сам подумал: «Какое это имеет значение?»

Солдат продолжал, как будто не слышал вопроса:

— Меня очень рано женили, я ничего не смыслил...

Он задумался.

— Простите... все равно вы мне не поможете...

И он пошел к дому. Ногой поддел петуха. Петух заволновался,  
взлетел на забор, растопырил крылья и суматошно закукарекал.

- Дато, я такие глупости вчера наговорила...
- Я ничего не помню.
- Ты добрый...
- Маринэ...
- Ты можешь все забыть и все простить...
- Маринэ, не надо начинать сначала.
- Хорошо, не надо. Но я хочу, чтобы ты хоть иногда на меня сердился...
- Разве стоит сердиться?
- Да, конечно, не стоит. Зачем сердиться на глупую девчонку?
- Я не говорю этого...
- Знаю, что не говоришь... знаю, что ты хороший, добрый, замечательный!
- Спасибо...
- И ты понимаешь все намного лучше меня... и ты все знаешь...
- Маринэ!
- Я не шучу. Я сама знаю, как много у меня недостатков.
- Ты просто много не видишь или не хочешь видеть...
- Вот и я говорю — не вижу, не понимаю...
- Придет время, поймешь... в жизни не все так, как хочется.
- Море все не успокаивалось и дышало под окном, как запыхавшийся от долгого бега человек, и шарило по песку дрожащими руками.
- Дато, знаешь, о чем я думаю...
- Дато молчал.
- Тебе не интересно?
- Говори. Я слушаю.
- Нет, ничего... я сама не знаю, о чем говорю...
- Неужели люди боятся моря?
- Да...
- Неужели можно бояться этого несчастного моря!
- Ого, несчастное! — засмеялся Дато.
- Слышишь? Плачет.
- А ты попробуй — приласкай!
- Неужели и моряки боятся моря?
- В комнату влетел жук. Он бился о стены, журжал вокруг яркой лампочки и не находил выхода.
- В Тбилиси, наверное, тоже дождь...
- Дато не ответил.
- На море хорошо в сентябре... не нужно было приезжать сюда так рано.
- А мне и так нравится...
- Всему свое время...
- Ты права, всему свое время... Ты была девочкой, а теперь...
- Теперь?.. Правда, совсем недавно я была маленькая-маленькая... По воскресеньям мама водила меня в парк, и я каталась на пони. Ты видел пони?
- Нет.
- О, это необыкновенно! Колясочка и пони... Неужели ты не видел, ни разу не видел пони?
- Ни разу.
- Все было покрыто желтыми листьями. За коляской шел высокий седой мужчина...

— Погаси свет. Налетит мошкова.  
 — Коляска шла очень медленно. Делала круг и останавливалась.  
 — Ты не слышишь? Погаси свет.  
 — Мы собирали желтые листья. Этот седой мужчина сажал детей в коляску и всем-всем улыбался...

— Какой же он молодец!  
 — Но раз он пришел грустный и даже не смотрел на нас...  
 — Интересно, отчего же?  
 — Я чуть не расплакалась...

Маринэ помолчала и заговорила опять.

— Люди меняются...  
 — Да, за один день можно стать совсем другим человеком!  
 — Я хочу, чтобы все вокруг меня оставались прежними.

Дато засмеялся.

— Это зависит и от тебя...

— Хочу, чтобы многое мне прощали... чтобы понимали меня... чтобы могла иногда ошибаться. Имею я на это право? — спросила Маринэ изменившимся голосом.

— Имеешь, но...

— Что — но? Это самое «но» меня и пугает. Сейчас ты скажешь: «если рассуждать логически...» Но ведь правда, обыкновенная человеческая правда, не всегда логична... И вообще, хватит об этом... Слышишь, как шумит море? Я боюсь...

— Ведь ты не боялась?

— А теперь боюсь, когда оно такое несчастное.

Жук обжегся и упал на стол, беспомощно шевеля лапками.

— Ты правда не видел пони?

— Я же сказал — нет.

— Мне просто не верится. Это так чудесно — кататься на пони! Я бы сейчас с удовольствием прокатилась по желтым-желтым листьям.

— Маринэ!

— Неужели ты не видел пони?!

За стеной тихо разговаривали. Маринэ и Дато не различали слов, но понимали — ссорятся. Женщина горячо и быстро убеждала в чем-то мужчину и плакала. Плач слышался очень ясно. Она плакала громко. Потом снова говорила, не говорила, а стонала и причитала. И голос ее так походил на голос моря, которое все шумело и тоже выговаривало свое горе.

Маринэ встала и подошла к окну.

— Дождь...

Дождь на море — это совсем особенное. Он такой же бесконечный и бескрайний, как море. И облака превращаются в волны, и в них наверное, можно плавать.

— Облака похожи на погибшие и поднявшиеся в небо парусники, — проговорила Маринэ.

— Где это ты вычитала?

— Нигде. Это я сейчас придумала.

В комнате жарко. Вокруг лампочки, сплошь покрытой как веснушками темными точками, кружатся мошки.

«Где-то живут люди, им весело, они смеются... А я стою и смотрю на дождь...»

— Я бы выпил сейчас вина, — сказал Дато.

— Ты же не любишь.

— Вдруг захотелось...

Женщина за стеной замолчала. Говорил мужчина.

Дато спал.

Маринэ отошла от окна и потушила свет.

Утром солдат, улыбаясь, поздоровался с Дато.

— Вы были правы...

— В чем?

— Когда говорили, что я дурак...

— Я этого не говорил...

— Вы просто забыли...

Солдат засмеялся и покачал головой.

По балкону расхаживал красный петух. Солдат вдруг наклонился, схватил его за хвост, поднял и прижал к груди.

Маринэ вошла в книжный магазин. Знакомая продавщица всегда оставляла для нее интересные новые книги. Сегодня ее не было. Маринэ прошла вдоль стеклянной витрины с книгами и вышла на проспект Руставели.

Всегда прекрасна эта улица. Прекрасна и неповторима — утром, днем, вечером...

— Здравствуй, Маринэ!

Перед ней стоял высокий и красивый юноша. Он держал обе руки в своих и ласково смотрел в глаза.

— Леван!

Леван относился к тому счастливому прошлому, о котором она так тосковала. Он нравился девушкам из консерватории, казался им умным и талантливым, потому что собирался стать журналистом и писал статьи о музыке в вечерней газете. И потом он был такой внимательный кавалер! Он всегда брал в раздевалке пальто Маринэ и церемонно держал, пока она одевалась. Маринэ поднимала на него благодарные глаза. Леван был на несколько лет старше. А так приятно заставить внимание взрослого!

— Что тебя не видно? — Леван улыбался.

— Я так рада!

Леван взял ее под руку.

— Можно тебя проводить? — спросил он очень серьезно.

— Конечно...

— Мне казалось, что прошел целый век... так медленно идет время.

Леван поминутно раскланивался.

— Сколько у тебя знакомых!

— Весь город!

— Наверное, это хорошо...

— И хорошо и плохо.

— Плохо?

— Эх! — Леван махнул рукой. — Помнишь, как я в последний раз проводил тебя домой? Цвели акации... Где теперь это время?

— За морями, за горами, за белыми акациями...

— Маринэ, я все-таки скажу тебе — дело прошлое! Я ведь любил тебя!

— Леван...

Маринэ покраснела. Она обрадовалась, нет, не она, а что-то в ней, ей не подвластное, встрепенулось и обрадовалось.

— Я очень любил тебя... неужели ты не замечала, какими обалденными глазами я на тебя смотрел...

Леван засмеялся... И тени печали не было в этом смехе.

— Ты шутишь, Леван! Я не могла не заметить, если это было бы на самом деле...

Маринэ деланно смеялась, ей хотелось, чтобы в ее смехе тоже не было сожаления.

Удивительно! Шутливое признание Левана вдруг согрело ее и на одну коротенькую секунду унесло куда-то...

«За морями, за горами, за белыми акациями...»

— Я любил тебя, Маринэ,— опять услышала она, но откуда-то издалека доносились эти слова... И кто-то другой их повторял... У того, другого, не было такого веселого смеха, его голос дрожал и жег Маринэ.

«Это же Ника, — поняла Маринэ, — Ника!!»

Леван взял ее за руку.

— Ты помнишь? — спрашивал он о чем-то.

— Да, помню...

Она не знала, о чем он говорил. Но он и не заметил.

— Ну вот... а потом...

Леван замолчал.

— Что потом?

— Потом я в тебя влюбился... Я понимаю, что ты замужем и теперь поздно...

— Разве нельзя любить замужнюю женщину! — вырвалось у Маринэ.

— Маринэ! Не своди меня с ума!

«Разве нельзя любить замужнюю женщину...»

Она опять вернулась к Нике и искала слова для оправдания.

— Хочешь, я встану на колени? — спрашивал Леван.

— Глупый...

«Странно... есть люди, перед которыми никогда не чувствуешь вины, что бы ты им ни сказал и ни сделал. Они никогда не причинят тебе боли».

— Маринэ, ты играешь?

— Так, для себя.

— Жаль. Ты ведь хорошо играла...

— Нет, Леван. Мне казалось, что хорошо...

Маринэ немного обиделась, что Леван так легко заговорил о другом, и тут же рассердилась на себя.

— Давай в честь нашей сегодняшней встречи пойдем на концерт... Приехал немецкий дирижер... Я не люблю симфонический, но...

— Но?

— Все хвалят — и я хожу.

— Мне нравится твоя откровенность! — засмеялась Маринэ.

— Спасибо... Так я возьму билеты.

— Не знаю... надо предупредить Дато.

— А где он?

— На стройке, в Сабуртало.

— Пошли вместе.

— Нет, я сама...

— Почему же, давай вместе предстанем перед твоим повелителем!

— Хорошо...

— Я возьму такси.

Найти Дато — дело совсем не легкое. Маринэ была здесь только один раз. С тех пор все изменилось. Появились новые дома. Везде кирпич, цемент и глина. Они пошли наугад, расспрашивая всех встречных. Одни не знали Дато, другие показывали рукой куда-то в сторону.

В грязных лужах дрожали краны.

Наконец Дато нашелся.  
Высокая белокурая женщина в рабочем комбинезоне крикнула:  
— Дато! К тебе пришли!  
Дато выглянул из оконной рамы, где еще не было стекол, и помахал рукой:  
— Я сейчас!  
Леван щелчками стряхивал с костюма пыль. Он был явно смущен.  
Дато спустился на грузовом лифте. Он снял огромные брезентовые рукавицы, кивнул Левану и улыбнулся Маринэ.  
— Каким ветром тебя занесло?  
— Познакомься, Дато. Это мой товарищ — Леван.  
Леван щелкнул каблуками, чуть склонился и протянул руку.  
— Дато, я хочу пойти на концерт.  
— Я пригласил Маринэ, надеюсь, вы не против?  
Дато удивился.  
— Зачем тебе понадобилось меня спрашивать?  
— Так...  
— Ну, раз мое согласие необходимо, — пожалуйста!  
Леван опять наклонился.  
— Спасибо...  
— Я думала, ты придешь поздно, поэтому пришла сюда...  
— Я бы с удовольствием пошел с вами, но не могу, — он оглянулся на дом, — кончаем!  
— Я знаю... ты занят...

...Поезд шел медленно, длинный, тяжелый.

У шлагбаума машины, телеги, велосипеды — ждут, когда пройдет состав. Люди любят смотреть на идущие поезда.

Поезд — как дом на колесах. А люди любят все, что напоминает о доме. И потом — поезд движется, и тогда он особенно красив. А ночью он просто неотразим — огромная черная тень с освещенными окнами.

И шум поезда, как и шум дождя, вызывает тысячи разных мыслей.

У шлагбаума стоит маленькая девочка и ждет, когда пройдет поезд. Она совсем не хочет, чтобы он прошел быстро. Она смотрит на поезд и вспоминает, что сама должна уехать. Но куда? Может, этим поездом, в этом вагоне, где одно окно еще не освещено.

Поезд замедляет ход и теперь ясно выступает из тумана. В свете фар сгрудившихся у путей машин можно прочесть и название станции. Девочка делает шаг вперед, но кто-то кричит:

— Осторожно!

Она давно привыкла к этому слову. Что бы она ни пробовала сделать — ей кричали: «осторожно!», «осторожно!». И девочка больше не бегала по шпалам, не уходила в поле играть с мальчиком, который не понимал, что значит быть осторожным. Он тоже однажды сел в поезд и уехал. А она стоит у полосатого шлагбаума и смотрит, как одно за другим гаснут вдали окна... «Неужели этот самый поезд...»

Маринэ не аплодировала. Она сидела задумавшись. Давно уже так не действовала на нее музыка. Словно в ней проснулся кто-то второй, оставленный и забытый, чьим родным языком была музыка, и он проснулся и зашевелился в душе, и освободилась и окрепла скрытая до сих пор боль.

— Музыка, — говорит учитель французского языка, — это бессмертный язык, который особенно понятен нам в периоды большой радости и большого горя.

Учитель толстый и седой. Он любит высокопарные речи и часто цитирует великих людей.

Маринэ вдруг вспомнила, как, подняв глаза к потолку и положив на грудь руки, он произносил:

— Ларошфуко писал: «Разлука ослабляет легкое увлечение, но усиливает большую страсть, подобно тому, как ветер гасит свечу, но раздувает пожар».

«Пожар за белыми акациями», — обязательно сказал бы он.

Маринэ улыбнулась.

— Сибелиус великолепен, — сказал Леван, — снег и свечи.

— Да, снег и свечи, — повторила Маринэ.

«Удивительно, как по-разному чувствуют люди...»

\* \* \*

Дато читал.

Маринэ вошла и встала у стола. Перелистала журнал, потом взяла с книжной полки растрепанную куклу. Посадила ее на стол, пригладила желтые волосы, посмотрела на куклу и очень тихо сказала:

— Я больше не могу...

Дато, не отрываясь от книги, спросил:

— Что случилось?

— Я больше не могу...

— Что не можешь?

— Так жить.

Дато бросил книгу.

— Как «так»? Объясни.

— Не знаю... знаю одно и твердо — не могу так больше.

Дато вдруг совсем изменился.

Он встал, подошел к Маринэ и взял ее за руки.

— Маринэ...

Она отвела глаза в сторону.

— Маринэ!

Она молчала.

— Со мной... ты не можешь жить со мной... Да?

У Дато дрожал голос и дергалась щека.

— Говори!

Он закричал и сам удивился.

— Говори, — повторил он тише.

Маринэ молчала. Она скала губы и смотрела куда-то вниз и в сторону.

Она прижала руку к груди и все больше бледнела.

— Говори же, говори...

Дато умолял, но сам понимал, что ему не нужно, чтобы она говорила. Он сам все знал и не хотел верить, и повторял «говори» в надежде, что она ничего не скажет. Пусть, пусть стоит вот так и молчит.

— Говори! Говори!

Он почувствовал, как весь размяк, как бессильно повисли руки и голос стал тихим и горьким.

— Ты не знаешь, ты не знаешь, как я тебя люблю...

Ему стало стыдно своей слабости. Он заговорил громче и почти закричал:

— Люблю!

Потом крепко взял ее за плечи.

— Ну, скажи что-нибудь, Маринэ...

Маринэ молчала. То, чего она боялась, — случилось. Теперь это удивляло ее. Значит, она совсем не знала Дато.

Он больно сжал ее плечи. Потом пришел в себя, шагнул к окну и отодвинул занавеску.

— Дато, я должна была это сказать...

Он ничего не ответил.

— Мы играли в прятки... Я пряталась от самой себя... А теперь больше не могу.

Дато ничего не ответил.

7

— Ника, Ника, мне так тяжело...

Он не знал, что сказать ей. Он даже не знал, счастлив ли он от того что она пришла. В глубине души он ждал ее прихода, лелеял и оберегал эту надежду, и теперь, когда она стояла перед ним несчастная и заплаканная, он растерялся.

«Думала ли она, что я ничего ей не скажу...»

— Сними плащ.

Маринэ подняла голову.

— Ника...

Она казалась спокойной, но глаза были полны слез. Она поднимала обеими руками распустившиеся волосы и смотрела на Нику. Потом сняла плащ, перекинула его через спинку стула и подошла совсем близко.

— Если ты...

— Успокойся, Маринэ...

— Если ты еще любишь меня... Со мной что-то происходит, сама не знаю... Мне некуда идти... Ты не должен меня отталкивать...

— Я никогда не отталкивал тебя, Маринэ...

— Да, правда... Ты не можешь ничего забыть?

— Я так немного помню...

— Ника, Ника, не заставляй меня говорить все!... Я думала, что ты на мне не женишься...

— Может, ты была права...

— Ника!

— Разве я мог тогда жениться? Да и сейчас я не могу содержать семью! Твоя мать была права, когда не разрешила тебе выходить за меня замуж. Я действительно не могу дать тебе того, о чем ты мечтала, к чему тебя готовили родители...

— Ты любил меня...

— Разве этого достаточно?

— Во всем виновата я одна...

— Я не упрекаю тебя... я просто вспоминаю, как все это было.

— Я давно все вспомнила и выплакала. Но слезы не помогают.

— Хватит говорить об этом... Причешись.

Волосы Маринэ... Мир снов и мечтаний... Сколько раз он представлял себе, как медленно падают на плечи ее волосы и как они искрятся и трещат под гребешком... Эти волосы, так же как дождь, могли изменить настроение...

Маринэ улыбалась...

— Я растрепанная...

Она достала из сумочки расческу и подошла к зеркалу.

Ника отвернулся. Он не хотел разрушать картину, созданную раз и навсегда воображением...

— Можешь повернуться.

Ника достал сигарету.

— Маринэ, — начал он. Говорить было трудно, а может и не стоило, но он все-таки говорил.

— Ты хорошо подумала?

— Я вообще не думала... встала и ушла... Ты не знаешь...

— Я не хотел об этом... но скажу... Я неинтересный человек, Маринэ... Я живу скучно и однобразно. Днем рисую, вечерами работаю... Небольшая зарплата...

— Ника!

У него дрогнуло сердце от жалости, хотя жалость была сейчас совсем ни к чему.

В ней появилось что-то новое, в этой избалованной девушки с её никогда и ничего не значащими словами.

— Ты не знаешь... Я не говорила... и нет таких слов... Я видела однажды корабль... никак не могли вытянуть якорь, он, наверное, застрял в камнях. Корабль дрожал, рвался и не мог сдвинуться с места... И вся моя жизнь была как привязанная к этому дурацкому якорю... Ни шагу в сторону! Все время чувствуешь этот застрявший на дне якорь и цепь... А когда почувствовала, что она разорвалась, я решила ни о чём не думать, просто ушла и всё...

Ника положил ей на плечо руку:

— Успокойся...

Что он мог ей сказать? Это не исповедь и не моление о любви...

Ника вдруг понял, что должен сейчас же, немедленно, решить — принимать или нет Маринэ.

Сможет ли он успокоить её и удержать рядом навсегда?

«Имеешь ли ты право обманывать, когда к тебе пришли за помощью?»

Как много и долго он думает! Неужели оттого, что не любит её?

Ника не мог больше оставаться в комнате. Его тянуло выйти — увидеть небо, деревья, горы, прийти в себя и все решить...

— Маринэ, ты прости меня... Я должен уйти ненадолго. Ты, главное, не плачь, только не плачь...

О дожде напоминал усилившимся запах акаций и шорох влажной листвы. Ника шел вдоль посаженных в ряд очень молодых платанов.

Прозрачный, ясный воздух отдавал тем особым ароматом, который приносит с собой весна. Он был непривычным в большом деловом городе; этот аромат — такая же неотъемлемая часть природы, как крик петуха, шум зеленой рощи и желтые цветы в еще холодных полях. И вспоминалось детство и трепетная тень ивы над чистой рекой, так ясно и коротко увиденная когда-то из окна поезда...

Ника ни о чём не думал. Он доверился весне.

После дождя все цвета становятся резче и чище и вызывают такие фантастические ассоциации. Потом они переходят в звуки, тоже четкие и звонкие, и складываются в очень знакомую мелодию. Ника упорно пытался ее вспомнить.

По улице шли старики с тяжелыми палками. Рассеянные студенты. Военные с тугими воротничками. Катились коляски с важными карапузами.

Весна придавала всем свежий и праздничный вид.

И город словно висел высоко в воздухе под снежно-белыми крыльями акаций.

Ника вдруг отчетливо услышал далекую музыку. Она приближа-

лась и поглощала все вокруг. Она лилась с телевизионной и радиоантеннами, падала с деревьев и водопадом обрушивалась на Нику.

И Ника вспомнил, где он слышал эту музыку.

... Он опоздал на концерт, и седая билетерша не пропустила его в партер. Ника поднялся по пустынной широкой лестнице на галерку. Пол произительно заскрипел, и публика недовольно завертела головами и зашикала. Ника остановился.

Он редко ходил на концерты, потому что считал, что плохо разбирается в музыке и не имеет слуха. Сегодняшней программы он не знал, но, увидев у рояля Маринэ, почувствовал, что она обязательно будет играть Шопена. Последнее время она только и говорила о Шопене. Шопен был для нее целой жизнью. Она уверяла, что каждая музыкальная фраза, гибкая и хрупкая, как стебелек цветка, одна-единственная фраза наполняет ее бесконечным счастьем.

Она сидела под черным крылом рояля в своем белом платье, и Нику казалось, что руки Маринэ и клавиши здесь не при чем, что музыку рождает извечный цветовой контраст между черным и белым. И к этому праздничному шествию красок и звуков приобщалось все — высокие стены, уходящие к потолку, и мраморные безгласные колонны. И люди — все как один — подались вперед, словно к костру, излучающему тепло.

Безуокоризненно логичные фразы, как стая волшебных птиц с развернутыми крыльями, таили в себе столько человеческого — отчаяния и восторга.

Неуловимые, таинственные превращения свершались в этом звуковом круговороте.

Грустная песня одинокого всадника в бескрайних вечерних полях, где трава по грудь коню... Звон бубенцов старинного дилижанса у затерянной в снегах станции... И царственные лебеди в саду с белыми мраморными статуями... И тающий на воде след парусника и солнца.

И где-то пылает высокий костер, и светится среди деревьев окно лесной сторожки... Всё...

У двери, ведущей на сцену, стояла Маринэ, окруженная нарядными молодыми людьми. Она всем одинаково улыбалась и, немного бледная, прижимала к груди белые розы.

Щегольски одетые парни с деланным безразличием оглядывали публику. Ника терпеть не мог, как они во всех фойе всех театров самовлюбленно задирают головы и снисходительно улыбаются. Из карманчика обязательно торчит уголок накрахмаленного платка. Они с утомленными лицами рассуждают об искусстве и знают по именам всех киноактеров. У них есть свои излюбленные писатели и композиторы, и они морщатся высокомерно, когда кто-нибудь восхищается другими.

Сейчас с Маринэ разговаривал именно такой тип. Одну руку он держал в кармане, а другой жестикулировал, видимо, что-то внушая Маринэ.

У Ники сжалось сердце — такое внимательное было у Маринэ лицо. Он подошел к ней и, стараясь не смотреть на красноречивого собеседника, сказал:

— Ты очень хорошо играла, Маринэ.

И она сразу отвернулась от всех франтов и взяла его под руку:

— Я так рада, что ты пришел...

Ника не заметил, как спустился к площади. Так же машинально подошел к стоянке такси и встал в очередь — решил поехать к тетке в Дидубе. Он не знал, почему именно сейчас и именно туда.

Перед Никой стояла супружеская чета. Из тысячи людей всегда угадаешь мужа и жену. Интересно, отчего?

Женщина была худая и высокая, с крашенными жесткими волосами и с пурпурной в морщинах под глазами, в ярком цветастом платье. Она нервничала, по-видимому куда-то спешила и поминутно выходила из очереди посмотреть, не идет ли машина и сколько человек осталось до них.

Мужчина был низенький и толстый. Наверное, страдал гипертонией. Он держал в руках бумажный кулек с продуктами и никакого внимания не обращал на волнение жены. Такие мужья обычно во всем подчиняются своим женам и любят поспать после обеда. Они предпочитают ездить в такси и садятся обязательно рядом с шофером.

И все-таки какая-то напряженность чувствовалась и в его спокойствии и в суетливости его жены.

Когда они уселись в машину, Ника нарочно спросил, в какую сторону они едут.

— Нет... нам еще понадобится машина... — женщина растянула в улыбке накрашенные губы и хлопнула дверцей.

Тетя Мариам жила в Дидубе, за Пантеоном. Одноэтажный домик был обнесен кирпичной стеной. Под большим туровым деревом стояли каменные лавки. От крана, прихотливо извиваясь, тянулся через весь двор резиновый шланг. Эстатэ — муж Мариам — поливал огород. Эстатэ — пенсионер. Он носит белый парусиновый костюм и соломенную шляпу. Целыми днями он сидит под тутой и читает газеты. Гости к нему приходят очень редко, а Эстатэ любит поговорить, и если уж попадешься ему в руки — он тебя не скоро отпустит. Достанет папиросу, помнет ее хорошенько, закурит, заложит ногу за ногу и начнет:

— Так вот я и говорю, мой милый...

Эстатэ очень жалел, что рано ушел на пенсию. Он считал, что не так стар, как это кажется директору школы, и прекрасно может преподавать. Только иногда во время урока Эстатэ вдруг останавливался, проводил по лбу рукой, вымазанной мелом, и застыпал посреди класса, задумавшись и не замечая удивленных взглядов учеников. Они шумели, хохотали, прыгали с парты на парту, запускали бумажных птичек и даже свистели.

Эстатэ ничего не слышал.

Никто не знал, о чем думает учитель.

Однажды именно в такой момент в класс заглянул директор. Эстатэ не заметил ни его прихода, ни внезапно наступившей тишины. Директор некоторое время пристально смотрел на него, потом приложил палец к губам и вышел.

Окончание следует

*Маквала Мревлишвили*

## *Из цикла „Сувениры“*

### ЭМИЛЬ ВЕРХАРН

— Деревья Фландрии тяжелым золотом пропитаны.  
Рука крестьянская в мозолях. Свет и мрак.  
Роса горит. Бьют лошади копытами... —  
Так говорил Эмиль Верхарн. Вот так.  
Незыблемость божеств, последний вскрик поэта,  
луч солнечный, что не перебороть,  
и голоса — все на прилавке это,  
все это — кровь Верхарна... кровь и плоть.  
Бирж лихорадку, бьющую как бубен,  
и бедность барж, что тянутся года,  
блеск мишурь, гул праздников и буден —  
как черный дым швыряют города...  
Когда наш теплоход, взывая тщетно,  
в чужую гавань, как виденье, врос,  
Эмиль Верхарн, задумчивый и щедрый,  
мне всю свою палитру преподнес.

### БЕРЕГА ГОЛЛАНДИИ

Грузины, читайте стихи по-грузински,  
соленую влагу вдыхайте легко...  
Здесь берег в тумане виднеется низкий.  
До острова Тексель<sup>1</sup> — не далеко.  
И как бы туманы его ни скрывали,  
он старой бедой шевелится во мне.  
О, как наши юноши здесь тосковали  
по родине, по тишине, по весне!  
А сколько пришлось им томиться и мучаться,

<sup>1</sup> На острове Тексель в апреле 1945 года произошло восстание советских военнопленных-грузин.

и всматриваться в рассветный дым...  
 Я в горсть соберу свое слабое мужество —  
 спасения позднего выпрошу им.  
 ...А волны бегут торопливо и весело,  
 и море из синего дыма встает,  
 и к острову Тексель, к острову Тексель  
 все тянется скорбное сердце мое.

### В СТАРОМ ГЕЙСЕЛЬСКОМ ПАРКЕ

Топот ног тороплив, словно дождь.  
 Словно ноги обутые в крылья,  
 по песку золотому — с шуршаньем...  
 Топот ног шершавых подошв.  
 Парку старому — новый удел:  
 по аллеям торопятся реки —  
 по аллеям торопятся гости...  
 Топот ног и качание тел.  
 В парке Гейсельском нет тишины.  
 Павильоны гудят монотонно.  
 Представители целой планеты  
 все узнать и увидеть должны.  
 Наводнение... водоворот...  
 Целый мир — словно весь на ладони.  
 И стариинному тихому парку  
 девяти не хватает ворот.

### ПЕРЕЗВОН

Вздрагивает готский собор в Мёлине,  
 звоном сумерки расколов...  
 На что ему, этому тихому, малому  
 городу, столько колоколов?

Сеет дождь, мостовые моются.  
 Колоколов нарастает гром.  
 И все деревья тихо молятся,  
 и каждое дерево о своем.

О, собора ветхие стены  
 с многовековой грустью в глазах!  
 Что там слышится неизменно  
 в разливающихся голосах?

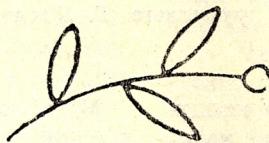
Колоколов нарастает пение,  
 свечи замерли, чуть дыша...  
 То словно Шопена сердцебиение,  
 то Листа неистовая душа.

Словно у неба что-то вымаливая,  
разливаются в тишине  
колокола Малина, колокола Малина,  
вы подступаете и ко мне!

О звонарь, возврати нас с неба!  
Нам на землю пора сейчас...  
Замирает колокольная небыль,  
в поздних сумерках растворяясь.

Затухает робкое марево...  
Нет собора... пения нет...  
Но летят перезвоны Малина  
за нашими душами вслед.

Перевод с грузинского Б. Окуджава



*Мосэ Гвасалиа*

# Н о в о с е л ы

Р А С С К А З

Перевод с грузинского Г. Джандиери

Рис. Г. Кервалишвили.

Натэлу разбудил звонок. У калитки собачонка лаем встречала какого-то гостя.

«Кто бы это мог быть?» — подумала Натэла, лениво поворачиваясь с боку на бок. Потом поправила мутаку под головой и снова закрыла глаза. Звонок продолжал дребезжать.

— Пожалуйте, — услышала она, наконец, голос матери, — входите, не бойтесь, собака не кусается!

— Простите, — робко начал вошедший, — я по делу, если позвольте!

— Слушаю вас.

— Видите ли, я хочу снять комнату... Это моя дочь. Я ее определил здесь на учебу, в техникум, а жить ей пока негде. Может, у вас найдется комната? А нет, так хоть посоветуйте, к кому нам обратиться.

— Комнату? — оживилась хозяйка. — А девочка будет одна? А куда она сдавала экзамены?

— Конечно, конечно, она одна, другие пока дома, а она вот поступила в сельскохозяйственный техникум.

Натэла насторожилась. Ведь и она сдавала в сельскохозяйственный. Интересно, кто эта девушка?

У Натэлы не было никого, кроме матери. Может, потому ей так не везло? В третий раз! Да что там Тбилиси, институт! Об этом она и не мечтала. Даже здесь, в родном Зугдиди, где она родилась и выросла, где каждого экзаменатора знала лично, не смогла попасть в техникум.

— Поздравляю, поздравляю, дай бог тебе радости! — слышала Натэла далеко не веселый голос матери. — Сколько же ты набрала очков?

— Двадцать! — ответила девушка.

— По четырем предметам — двадцать, все пятерки! Она-то младец, но я, что я буду делать без нее? На ней вся семья держалась. Она ведь сборщица чая. Да ничего не поделаешь, уже поздно, — шутил счастливый отец.

Натэла помнила всех, с кем сдавала экзамены. И готовились они вместе — в ботаническом саду. Она выглянула к гостям, которые были уже в соседней комнате. А вот и эта отличница! Ну, конечно, она есть. Как сейчас помнит Натэла сияющее лицо девушки, когда, сдав

последний экзамен, она выбежала из аудитории.

— Что получила, как сдала? — кинулись к ней со всех сторон подруги.

— Пятерку, пятерку! — кричала обрадованная девушка.

А Натэла, разъяренная неудачей, бросала ей в лицо колкие, обидные слова:

— Пятерку! Конечно, конечно, почему бы и нет, подмазала небось всех! Ну да, а как же, так просто пятерок не ставят!..

— Как!.. Что ты говоришь?! — воскликнула та и вся покраснела от обиды.

Но Натэла видно решила выместить на ней все свое зло и не отставала, пока та не расплакалась. А сейчас она будет жить в их доме, может даже в одной комнате с Натэлой. Вот и мать только что сказала:

— Сюда, сюда проходите. Вот эта комната. Она теплая и светлая, моя дочь тоже здесь спит. Вот, будьте знакомы, — моя Натэла, а это твоя новая подружка, Натэла, будете вместе жить. Присаживайтесь, присаживайтесь!

Но гость спешил.

— Спасибо, хозяюшка, только сидеть мне некогда! Побегу-ка я за постелью моей Гули, мне еще надо успеть на последний автобус.

Потом он обвел взглядом комнату, выглянул во двор и добавил:

— Ей богу, очень у вас хорошо! И подружка у тебя здесь будет, Гули. Обидно, что мы столько времени зря потеряли, не сразу пришли сюда.

— Зачем спешить, отдохните немного, — уговаривала его хозяйка. Но гость ушел.

Жара. Раскаленные крыши домов, асфальт улиц и площадей — от всего подымалось горячее марево. Автомашины оставляли за собой клубы пыли. В скверах и аллеях засуха давно сожгла траву.

Гули после ухода отца почувствовала себя совсем одинокой. И на-

до же было им прийти именно в этот дом, где все так чуждо ей, привыкшей к труду деревенской девушки. А главное — эта девчонка, так не заслуженно обидевшая ее. Она и сейчас возится за стеной, не делая никаких попыток к примирению.

Вскоре хозяйка увидела из окна, как в конце улицы появился человек в соломенной шляпе. Он нес в руках чемодан и увязанную в узел постель. Гули, а за ней и мать Натэлы побежали ему навстречу.

— Вот и все, — сказал он, отдавшись, — сердце свое я вам оставляю, сестрица! Ведь моя Гули никогда из села не уезжала, нигде одна не бывала... Если что не так, сами знаете — незнакомый город, незнакомые люди...

— Что вы, дорогой, не в чужих краях ведь девочку оставляете! Будьте спокойны, никто не обидит вашу Гули, я за нее отвечаю! — заверила хозяйка.

Гули некоторое время с грустью смотрела вслед отцу, потом нехотя направилась в дом.

\* \* \*

С грохотом проносятся груженые чайным листом автомашины, останавливаются в конце улицы, где высоко в небо уходят фабричные трубы. Когда со стороны фабрики дует ветерок, весь дом наполняется знакомым с детства запахом чайного листа. Все остальное здесь не-привычно и чуждо Гули.

— Чего же вы молчите? Ведь знаете друг друга! — удивилась хозяйка. Наконец молчание нарушила Натэла.

— Гули, как в этом году с урожаем? — спросила она улыбаясь. Урожай-то ее никак не интересовал. Этим вопросом она, видимо, хотела сказать: забудем все, что было, станем друзьями.

— С урожаем нынче очень трудно, — откровенно ответила Гули. — В июне только раз прошел дождь, да и то над соседней деревней. У них между грядками три дня вода

стояла, и урожай был отличный. А мы? В день по килограмму собирали... Не идет лист, а то наши сборщицы не посрамятся.

— А ты сколько всего собрала за лето?

— По плану у нас две тонны на каждого, две тонны я и собрала. В прошлом году у меня уже к середине лета столько было, а в этом — нет листа и все. Иной раз два листочка с куста снимешь! А бригадир только и знает: «Плохо собираете, надо было вовремя шевелиться!»

«Смотрите, — подумала мать Натэлы, — как разошлись! А ведь целий час в молчанку играли. Моя Натэла знает, что делать: о том заговорила, что ближе всего этой девушки».

— Значит, свои две тонны ты все же собрала? — продолжала беседу Натэла.

— Даже больше!

— Выходит, остальным по заслугам попало, — вступила в разговор хозяйка, — собрали бы и они норму!

— Я же говорю, что не было листвьев.

— Но ведь были они для тебя!

Гули вздохнула и собралась было объяснить, но Натэла ее перебила:

— Что ж тут удивительного! Когда бригадиром работает отец...

Гули не стерпела, закричала:

— Отца бригадиром в этом году назначили, а в прошлом... Ты, дорогая Натэла, видно, газет не читаешь, а то бы знала, сколько я в прошлом году собрала, и еще матери помогла, а сейчас...

Натэла не дослушала, вышла из комнаты.

В тот вечер Гули долго разговаривала с хозяйкой, рассказывала о людях своей деревни. Обо всех рассказывала, о плохих, о хороших, о девушках, о парнях. И только о весовщике Гиви ничего не говорила. Но под конец не выдержала — называла его имя и пошла расхваливать: честный, вежливый, красивый. Правда, в селе Гиви далеко не все

любят. Злые языки говорят, например, что такого волокиты нигде не сыщешь. По правде говоря, его и с бригадирства сняли за то, что он за всеми девушками бригады увивался. А брат Цицино его избил чуть не до потери сознания. Точно никто не знал, за что. Некоторые обвиняли Гиви, некоторые Гелу — брата Цицино, а некоторые и саму Цицино. Хотя во всем этом была виновата Гули: это из-за нее он разлюбил Цицино. Правда, Гули не старалась ему понравиться...

Внезапно она спохватилась, что слишком много говорит о Гиви, и осеклась. Но было уже поздно.

Все стихло. Лишь монотонное гудение соседней чайной фабрики нарушало ночной покой города. Хозяева заснули. Не спалось только Гули. Она ворочалась с боку на бок, мысли уносили ее далеко-далеко...

Гиви взвешивает чай, поглядывает на Гули и улыбается. На длинной скамье под навесом рядом с доверху наполненными корзинами сидят девушки в соломенных шляпах. А Гиви видит только Гули, и она улыбается ему...

Гули разбудило щебетание птиц. Она не сразу сообразила, где находится, потом вспомнила все, нахмурилась и глубоко вздохнула. Натэла еще крепко спала. Гули закрыла глаза, но тут же ее заставил вздрогнуть скрип двери. У шкафа стояла хозяйка и что-то искала. Нашла, повернулась к дочери, громко застенала:

— Вставай, я ухожу! Проснись, же наконец, посмотри за домом!

Хозяйка, очевидно, спешила на воскресный базар. Когда она ушла, Гули оделась. По улице уже двигались груженые автомашины. Гули знала — чай этот собран час назад и, конечно, взвешивал его Гиви.

Фабричные часы пробили девять. Гули побродила по двору, приласкала собачонку, заглянула в крошечный огород, потом вернулась

в комнату, стала приводить в порядок книги и разобрала все свои поожитки. Пока она возилась, прошло десять часов. Натэла наконец зашевелилась и открыла глаза.

— Доброе утро, соня! — обрадовалась Гули, успевшая забыть вчерашинюю размолвку. — Вставай скорее, в это время я уже наполняла вторую корзину, разве можно так долго спать!

Натэла заявила, что раньше одиннадцати она вставать не может, но Гули не отстала от нее до тех пор, пока не заставила одеться.

— Значит, ты говоришь, Гули, — с любопытством спросила Натэла, — твой весовщик Гиви красивый парень? Очень красивый?

— Почему же мой?

— Ладно, меня не проведешь! По глазам вижу: так нравится, что голову готова потерять. Только смотри, чтоб не обманул тебя твой Гиви.

— Вот еще! Да стоит мне согласиться — завтра же будет свадьба. Но мне надо учиться...

— Ага, проговорилась! Значит, все же твой?

— Да.

— Ну, раз так, чего же ты скрываешь! Я с самого же начала все поняла.

— Я только сказала, что не выйду замуж, пока не кончу техникума.

— За три года твой Гиви три раза женится!

— Стоит мне только согласиться — он и пять лет подождет!

— Это он тебе так сказал?

— Да.

Вечером у ворот остановилась грузовая машина. Из кабины выпрыгнул юноша и легким шагом пересек улицу.

— Гули Шерозия здесь живет? — спросил он издали.

— Здесь, здесь! — откликнулась Натэла, стремглав вбежала в дом и позвала Гули. Гиви, стоя посредине двора, весело улыбался. Потом



протянул руку Натэле и уверенно представился:

— Реваз Шерозия, двоюродный брат Гули!

Гули смущилась, но подтвердила:

— Да, да... мой двоюродный брат Резо, познакомься, Натэла.

— Очень приятно, — усмехнулась та, — вы очень похожи друг на друга. Заходите, пожалуйста.

— Спасибо, у меня нет времени, — ответил Гиви. — Я кое-что привез Гули, а нам еще надо листья на фабрику доставить.

Машина ушла. Натэла рассмеялась:

— Гули, это ведь никакой не Резо, это твой Гиви! И, знаешь, у тебя хороший вкус.

— Что ты, что ты, Натэла! Гиви такой застенчивый, разве он осмелился бы приехать ко мне сюда!

— Значит, в самом деле двоюродный брат? Ну, если так, сосвайт меня за него. Такого красивого парня я еще не встречала!

Долго сидели девушки под магнолией, говорили о Резо, шутили, смеялись.

Шли дни. Натэла часто ходила в кино и возвращалась поздно, в сопровождении шумной ватаги друзей. Мать постоянно выговаривала ей, но ничего не помогало. Наконец было решено: Натэла будетходить в кино вместе с Гули. Свободного времени у Гули было мало, но изуважения к хозяйке она согласилась. В кино Натэла вела себя странно. Оставила Гули одну, а сама пересела на другое место, и вскоре рядом с ней появился какой-то парень. Почти не глядя на экран, они громко шептались. По дороге домой Натэла представила Гули своего соседа. Гули чувствовала себя очень неловко, потому что Натэла и этот парень продолжали шептаться. В конце концов Гули убежала домой.

— Куда ты сбежала, почему бросила нас? — спросила ее Натэла, придя домой чуть ли не за полночь.

— Что такого плохого я сделала? Ведь это мой жених!

— Но ты как-то раз познакомила меня с каким-то другим парнем и тоже сказала, что это жених...

— Ну и что ж? Он тоже хочет на мне жениться! — засмеялась Натэла.

— Словом, больше ты меня в кино не приглашай, — сказала Гули.

Семья Натэлы еще до ее рождения переехала в город. Отец ее, состоятельный, практичный человек, не

ужился в деревне. В городе он занимался «делом»: возил куда-то фрукты. Обычно он брал с собой один два чемодана, а остальное получал на месте в виде посылок. На обратном пути прихватывал различные ткани. Конечно, долго это продолжаться не могло. Его задержали на Урале.

Он вернулся через три года. Жена убеждала его уехать в деревню, обзавестись хозяйством и жить, как подобает честным людям. Но уговорить его не удалось. Он вновь занялся своим, только теперь поездки стали более продолжительными.

Однажды зимой он выпил слишком много, потерял сознание и попал в больницу. Спасти его не смогли.

После этого на воротах дома дважды вывешивалось объявление о продаже. Дважды собиралась мать Натэлы переехать в деревню, но уговорить дочь ей так и не удалось.

— Ты что, с ума сошла! — обругивалась Натэла на мать. — Что мы будем делать в деревне? Никуда я не поеду, а если не устроюсь учиться, начну где-нибудь работать!

В пятницу хозяйка вернулась с базара унылая. Гули не трудно было догадаться, в чем дело. Она могла помочь только тем, что дала квартирную плату за месяц вперед. Потом засела за письмо, в котором подробно рассказала родителям о бедственном положении хозяйки.

В тот вечер с моря стремительно плыли грозовые тучи. Потемневшее небо прочертили огненные язычки молний. Задул освежающий ветер, подхватил опавшую листву, закрутил вихрем и понес по всем улицам. Прогремел гром, крупные капли падали на дорогу, на деревья, танцевали по крышам домов. Это был запев дождя. Через несколько минут на иссушеннную землю хлынули потоки воды. Небо словно раскололось надвое, свер-

кающими клинками посыпалась молнии. Дождь рукоплескал на железных крышах этому ослепительному танцу огня. Издалека доносился рев реки.

До самого утра прислушивалась Гули к победному шествию дождя. Как ей хотелось быть там, в деревне, умытой и ожившей после долгожданного дождя!

В техникум она пошла хмурая, но домой вернулась сияющая и подбежала к хозяйке:

— Тетя, нас на две недели отправляют в деревню помогать колхозникам!

— И к нам пришли, Гули... Этого только недоставало!

— Вы, конечно, не отказались?

— Попробуй — откажись!

Гули захлопала в ладости.

— Приглашаю вас в нашу деревню!

— А дом, девочка? Я же его не оставлю... Мы лучше будем ездить куда-нибудь поблизости.

Но Гули сумела уговорить хозяйку.

И вот автомашина въезжает в деревню. В кузове, вместе с другими, стоит Гули. Она тянется на цыпочки, чтобы видеть больше и дальше, и звонким смехом приветствует знакомых. Вот и ворота ее двухэтажного дома. На лугу пасется теленок. Разомлевшие от жары, бросят откормленные куры и индейки. Слева — густой виноградник. Над крышей кухни вьется дымок. Огромная овчарка с лаем бросается к калитке. На шум из кухни выбегает мать Гули.

— Входите, входите! — радушно приглашает она гостей и отгоняет собаку. Гули взбегает по каменной лестнице и настежь распахивает двери в комнаты. Но гостья не спешит. Она внимательно осматривается, ей здесь, видно, очень нравится.

— Посмотри, Натэла, — восхищенно восклицает она, — как хорошо в тени этой липы... Мать родная, а какая красота — все будто на ла-

дони! И море блестит... А воздух! Отдохнуть бы здесь дней десять...

Натэла рассеянно слушала мать. Она тоже осматривала огород, виноградник, зашла в сад — попробовать яблок и персиков.

— У них всего вдоволь, — сказала она матери, — смотри: кукурузу уже можно собирать. Видишь? И ульи!

Гости вошли в дом. Комнаты просторные, светлые, обставлены хорошей мебелью, но видно по всему, что квартира давно не убиралась. Даже на столе — немытые тарелки и пустые кувшины.

— Что здесь творится! — воскликнула Гули.

— Как всегда в такое время, дочка! — засмеялась мать. — Сейчас у нас такая пора, сама знаешь. Лето нынче выдалось очень жаркое, все горит, не пропадать же урожаю!

Натэла потащила Гули в комнату и зашептала:

— Ну-ка, выполняй обещание — веди меня к Резо!

— Ну что ты! Где мы его сейчас найдем? Вот вечером вернемся с плантаций, и я приглашу его домой.

Девушки побежали в кухню. Наспех закусив, они перевесили через плечо широкие корзины и двинулись в путь. За молодыми последовали старшие, и во дворе стало по-прежнему тихо.

С плантаций доносились веселый смех и песни сборщиц. Подруги со всех сторон кинулись к Гули — поздравить с поступлением в техникум.

А Натэла все повторяла:

— Ну, когда же ты познакомишь меня с Гиви? Он ведь весовщик, пойдем под навес, работа не волк — в лес не убежит! Ну, идем же, а потом скажи Резо, пусть вместе с Гиви придет к нам вечером.

— Подожди, — не соглашалась Гули, — соберем сначала листья. С пустыми корзинами ходить взад-вперед неудобно.

Пальцы девушки затанцевали над зеленым кустом. Глядя на нее, по-

правила корзину и Натэла, двинулась следом, но очень скоро отстала, отошла в тень раскидистого дерева, а оттуда незаметно свернула к навесу.

Вернулась она оживленная:

— И чего ты хитришь? Гиви — парень, что надо, выдумала какого-то Резо, только расстроила меня! Но смотри в оба, такого красивого парня удержать нелегко. Его бы увезти в город, одеть по-городскому — все наши девушки голову потеряют! А он тебя любит?

— Эх, разве я знаю!

— Вот и я про то говорю! Видать птицу по полету. Этот из тех, кто горазд поухаживать. И сказать правду, тебе не пара. Такого трудно удержать. Словом, твой Гиви парень не промах.

— Почему это «мой»? — снова засмеялась Гули. — Тогда я тебе все так наболтала!

— Но ты-то любишь его?

— Люблю? Да нет же! И кроме того, если и люблю, какое ему до этого дело? Разве достаточно только лишь моей любви, чтобы считать его своим? Когда любят оба — вот тогда другое дело... — печально заключила Гули.

— Но ты-то ему нравишься?

— Да, но видишь сама, какой он... Откуда я знаю! Вообще все это.. Кого парень крепко полюбит, та с ним и будет. А не любит — так будь ты хоть семи пядей во лбу, — ничего не поможет...

— Правильно ты говоришь, Гули. Обе замолчали.

Гули вновь взялась за работу. К полудню она собрала две нормы и, сдав чай, поспешила домой приготовиться к встрече гостей.

Солнце отправилось на отдых. Медленно плыли на запад красные облака. Не теряя ни минуты, Гули взялась за дело: подоила корову, заквасила мацони, собрала коз и гусей, накормила свинью. Потом принялась за хачапури. А мысли ее все были об одном...

Сердце не обмануло Гули — Гиви пришел.

Гули украдкой заглянула Гиви в глаза. Он улыбнулся, и ей показалось, что в эту минуту в его облике было что-то детское. Девушка была счастлива. Стоять бы вот так и смотреть на него, и не нужно ей ни еды, ни отдыха.

Ужин получился веселый. Тамадой избрали мать Гули, и она успешно справилась с этим неженским делом.

Больше всех веселилась Натэла. Она спела несколько песен, Гиви стал подпевать ей, и вышло очень неплохо...

В тот день под навесом у Гиви собралась вся бригада — подводили итоги сбора листа за неделю, подсчитывали доход каждого колхозника. Сгорая от нетерпения и любопытства, в углу сидела мать Натэлы.

Вот и она получила деньги, и немало.

— Да, здесь не шутят! — удивилась гостья.

Гули под навесом не было. Она убежала домой, шепнув Гиви, что отец достанет свежий мед из ульев, а звеньевой принесет форель, и потому опаздывать на ужин нельзя!

...Больше всех говорила мать Натэлы:

— Клянусь вам: здесь умеют работать! А ведь не везде так получают. Вот и я, к слову, получила! Что же тут плохого? Продам в городе все и перееду в деревню. Дочь у меня одна... Поработает немного, сдаст года через два в институт, а если нет — проживем и так, на кусок хлеба я всегда заработаю! Послал бы бог хорошего зятя, тогда и мечтать больше не о чем! — она икоса взглянула на Гиви. Юноша подтолкнул плечом Натэлу, и оба рассмеялись.

— А что? — сказал Гиви. — Здесь у нас есть свободный участок. На нем мы селим тех, кто спускается

с гор. А из городских вы будете первыми.

— По рукам! — воскликнула хозяйка. — Я человек слова, сказано — сделано!

Смеясь, они протянули друг другу руки.

Утомленная Гули долго не могла заснуть. Неужели это всерьез? Что за глупость! Стоит ли думать об этом? Конечно, они шутили — и только. Ведь знает же Натэла и ее мать чей жених Гиви. Особенно Натэла, от которой Гули ничего не скрыла! Нет, они просто шутили. Ну, и пусть себе шутят!

На работу она ушла рано, даже не захватив с собой завтрака. Вернулась затемно.

...Было уже поздно, очень поздно. Где же Гиви с Натэлой? Гули вдруг охватили нетерпение, тревога, страх. Наконец послышался чей-то голос. Гули бросилась к изгороди. К калитке приближались ее отец с матерью Натэлы. Они смотрели место, где будет стоять дом новоселов, и бывшая хозяйка Гули говорила о нем с восторгом.

Девушку обдало холодом. «Так, значит, это — не шутка?»

Гули открыла калитку.

— А где Натэла?

— Я оставила ее под навесом, наверное, подойдет с минуты на минуту. А в чем дело, Гули? Ах, да! Вы ведь друг без друга и часа не можете прожить! — засмеялась она.

Гули убежала на кухню, утерла слезы, умылась и снова вышла во двор.

Ждать она больше не могла. Выйдя за ограду, стремглав бросилась вперед. По безлунному небу

тяжело ползли черные тучи. Разноголосый шепот кустов сливался с шелестом широких листвьев тулового дерева. Тропинка довела Гули до обрыва. Где-то в темноте бежал ручей. Она остановилась, оглянулась и, повернувшись, побежала через плантацию. Вот здесь она в первый день работала с Натэлой. Натэла говорила тогда, что не может быть лучше места для свиданий.

Ветер крепчал.

Вдруг послышался шепот. Гули бросилась в сторону, споткнулась о камень, упала и явственно услышала голос Гиви:

— Значит, да?

И голос Натэлы ответил:

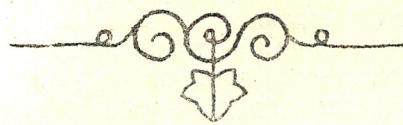
— Да, Гиви...

Что это? Шепот листьев или действительно их голоса?.. Гули отпрянула, побежала назад, не оглядываясь, не переводя дыхания.

Их долго не было. Потом, когда молодая луна стала медленно склоняться к западу, скрипнула калитка. Они шли молча, на расстоянии друг от друга. Но именно это расстояние объединяло их, это молчание говорило громче любых слов. И за ужином они не сидели рядом. Между ними сидела мать Натэлы. Она трещала безумолку, а они молчали и только порой украдкой глядели друг на друга.

Гули больше не сомневалась...

— Ничего, моя девочка! — говорила мать, — в город поедем вместе. Ты переедешь на новую квартиру... — и вдруг, не выдержав, закричала: — Чтоб он ослеп, этот Гиви! Разве он достоин тебя? Но ты найдешь свое счастье...



*Серго Ломинадзе*

## Новые стихи

### СТУК СЕРДЦА

Два сердца бьются у меня в груди,  
никак не отбываются друг от друга,  
спешу на юг—все север впереди,  
вернувшись на север—не могу без юга.

\* \* \*

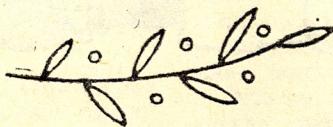
Строчки тасуются сами собой,  
строчки рифмуются наперебой,  
это, как страсть подсолнух лущить, —  
непоправимая штука.  
Так и сердце можно лишить  
его настоящего стука.  
Только нынче, ты знаешь, я гораздо  
скучей,  
звезды поворачиваются по команде  
«кругом»,  
синими-синими становятся купе,  
цельнометаллическим остается вагон.  
Амур—это мальчик, стрелявший из лука.  
«Беломор»—это курево. Это в аорту  
бумажная гильза гонит разлуку  
наивысшего сорта.  
А «синими-синими»—тоже неспроста.  
Синим полагается дочерчивать уста,  
синими снегами продолжается перрон.  
Впрочем, и у счастья синее перо.

Но у чая вчерашнего желтоватый глоток.  
Скручивает стрелочник твой красный  
платок.

\* \* \*

Мир без меня, что пир без хлеба,  
во мне Вселенная права.  
И это ветряное небо,  
и эта трезвая трава.

Добро и зло в буквальном смысле  
грешат бессонницей в ночных  
как два ведра на коромысле  
на городских моих плечах.





*Вахтанг Челидзе*

# ЖИЗНЬ БЕЗ КОНЦА

БИОГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН

Авторизованный перевод с грузинского Б. Гасса

Рис. Р. Кои

Не малую долю в становление театра внес и Вано Мачабели. Его участие в работе кружка петербургских студентов, переводы пьес специально для грузинской труппы, активная деятельность, статьи в газетах и журналах сыграли свою роль.

«Появление Мачабели в стенах нашего театра было встречено как сенсация, — вспоминает один из актеров. — Только что избрали во главе с Нико Николадзе комиссию по разработке устава драматического общества. Вано сразу же включился в

Окончание. Начало см. в журнале «Литературная Грузия» № 6, 7, 8, 1962 г.

работу, стал играть главную роль в этой комиссии».

И все же главная заслуга Вано Мачабели в том, что своими переводами он расширил репертуар грузинского театра, помог его становлению.

Вано снимает комнату на Кукия. Стол, книжная полка, два кресла, диван — вот и вся мебель. В комнате неудобно, холодно, неуютно. В свободные от спектаклей или работы вечера Вано сидит дома. Изредка к нему заходят «на огонек» товарищи. Они тут же принимаются журиить хозяина, мол, долго еще думаешь жить бобылем, ведь «одному спать — и

одеяльце не тепло». Вано со смехом отвечает, что они перепутали пословицу. На самом деле в народе говорят так: холостому ох-ох, а женатому ай-ай.

Вано шутит, старается казаться беспечным, а у самого на сердце кошки скребут. Он не в силах забыть Мако, не может простить себе бегство в деревню. Останься Вано тогда в городе, окажи Мако помощь, поддержку и... Но сейчас уже поздно упрекать себя, видно, так ему было написано на роду. И чтобы забыться, развеять тоску, Вано проводит бессонные ночи за работой. Он переводит с разных языков комедии, придавая им грузинский колорит. Так появляются на свет «Адвокат Меладзе», «Между двух огней», «Фру-Фру», «Порхающая обольстительница».

Вано отлично видит, что грузинская труппа еще не может осилить трагедии Шекспира, поэтому он откладывает работу над переводами английского драматурга. Однако тяга к Шекспиру исподволь зреет в нем, становится неодолимой. Вано вновь и вновь перечитывает «Гамлета», «Ромео и Джульетту», «Отелло» и тут же, в книге, записывает карандашом удачные грузинские обороты, выражения. Но до перевода Шекспира у Мачабели пока что не доходят руки. Сейчас он должен писать статьи о защите леса, об уходе за виноградниками, об орошении, о медицинской помощи народу, об образовании, о методах борьбы с саранчой и многом другом.

Мачабели пишет просто и ясно, словно беседует с читателем. А говорить на научные темы так, чтобы понял каждый, в те времена было не легко. Сложность популяризации заключалась в том, что на грузинском языке тогда еще не существовало научной терминологии.

Один из сотрудников «Иверии» вспоминает:

«Что печатание в газетах статей на научные темы полезно — ясно как день. Но, скажите на милость, как и каким путем можно было умудриться писать подобные статьи? Грузинского университета еще не открывали. Грузинской научной терминологии не было и в помине. А ты садись и пиши! Напрягай ум, выдумывай, создавай, а если хочешь, высасывай из пальца

нужные слова. Легко сказать, изобретай, сумей, а вы попробуйте...»

Вопросы, которые затрагивал Вано в своих статьях, были подсказаны жизнью.

В течение двух лет (1879—1880) деревни Картли подвергались опустошительным нашествиям саранчи. Мачабели сразу же откликнулся на появление «незванных гостей». Он пишет статьи, в которых учит народ, как бороться с саранчой, какие нужно принять меры предосторожности. «Мало давить саранчу, — объясняет Вано, — ее надо закапывать глубоко в землю. Ибо мертвая саранча может вызвать чуму, как это случилось в Италии... Живую саранчу мы одолеем, но надо еще справиться и с мертвой...»

Правительство приказало отделениям полиции выводить в поле народ и бить саранчу. Но полицейские, как всегда, решили и на этом несчастье погреть себе руки. Они обирали население, вымогали взятки, отправляли крестьян под розги. И еще неизвестно, что принесло народу больший урон: нашествие саранчи или полиции.

Вскоре на страницах газеты «Дроэба» появилась статья Вано Мачабели.

«Мы будем говорить правду и только правду, кому бы это ни кололо глаза. Мы расскажем о делах героических поборников порядка. И хотя наш бич не будет таким хлестким, как плетки, которые оставляют рубцы на спинах крестьян, мы все же расскажем правду... Особенно хочется поговорить о дворянчиках из подготовительных классов верхних уездов. Вот уж кто «отличился». Эти господа шумят о помощи народу, притворяются, что заботятся о народе, трудятся на благо отчизны. А вы соскребите с них этот легкий слой напускной заботливости и увидите: когда они одной рукой обнимают крестьянина, по-брратски прижимают его к груди, то другой лезут к нему в карман...»

Такие выступления, конечно, не могли пройти мимо внимания властей, но те пока что не решались на расправу с известным общественным деятелем.

\* \* \*

Осенью 1879 года мы видим Мачабели в Тбилисской дворянской гим-

назии. Он проверяет списки учеников, классные журналы, штатное расписание, одним словом, знакомится с положением дел. Вано недавно назначили инспектором, и ему хочется основательно изучить новое для него дело.

Когда разбирался вопрос о назначении Мачабели, одни выразили сомнение: мол, Вано молод, неопытен, другие возражали категорически. Вообще спор о кандидатуре Вано Мачабели на пост инспектора вызвал больше кривотолков, чем можно было ожидать. Дело в том, что на это место была выдвинута кандидатура и Алексия Чичинадзе — старого опытного педагога. Чавчавадзе хорошо понимал, что на стороне А. Чичинадзе педагогическое образование и многие годы работы в школе. Однако он смотрел дальше: Вано молод, полон сил, прекрасно владеет языками, разбирается в политике, настроен по-боевому. Он лучше, чем кто-либо другой, сможет воспитывать молодежь в духе любви к родине. Ну а что касается познаний в педагогике, то ему охотно помогут Гогебашвили и Цхведадзе, которые являются членами школьного комитета. Так что неопытность юного инспектора не помеха. После долгих споров прошло предложение Чавчавадзе, и Вано был назначен инспектором дворянской гимназии. Некоторая часть тогдашнего общества восприняла это как пощечину, как открытый вызов, брошенный ей Ильей Чавчавадзе.

— Доколь будет самовольничать этот Чавчавадзе, — возмущались его недруги.

— Везде он насаждает своих людей, — поддакивали им любители почесть языки. — Каждую дырку затыкает этим Мачабели, везде хочет иметь свою руку.

Дело дошло до того, что некий аноним напечатал в газете письмо, полное клеветы.

«... Я спрашиваю, — обращался он к читателю, — почему дали предпочтение Мачабели? Злые языки утверждают, что комитет руководствовался в данном случае не педагогическими соображениями, а мотивами личного порядка. Они, члены комитета, знали, что И. Мачабели «приятный кандидат» для редактора журнала «Иверия» господина И. Чавчавадзе и что уважаемый редактор уважаемого

журнала хочет иметь под рукой преданного ему лично сотрудника... Одним словом, поговаривают, что если скать, Мачабели обязан своим назначением благосклонности к нему Чавчавадзе...»

Помещики и дворяне не унимались. Они обвиняли Вано во всех грехах, мимоходом свалив все напасти на шестидесятников. Интриги, сплетни, наветы сильно ранили сердце Мачабели. Но природе вспыльчивый и самолюбивый, Вано решается на серьезный и, может быть, ошибочный шаг — он отказывается от места инспектора в гимназии. Но об этом он должен официально уведомить попечителя Кавказского учебного округа Яновского. Вано, не посоветовавшись ни с кем, идет к нему на прием.

Попечитель принял молодого журналиста на редкость тепло. Он встал, подал ему руку, предложил кресло. Сам сел рядом и в дружеском тоне, непринужденно стал рассказывать Вано о впечатлениях от недавней поездки по Грузии. «Какой народ! Какая нравственная чистота! Какая любовь к труду!» — воскликнул он поминутно. Потом испытуемое заглянул собеседнику в глаза, дескать, чего тот молчит, почему не разделяет его восторгов. Мачабели ничего не оставалось, как вставить словцо.

— Наш народ, — начал он, — несмотря на многочисленные варварские...

Но Яновский оборвал его на полуслове.

— Конечно, я согласен с вами, если бы не кавказское варварство и азиатская лень, то ваш народ...

— Вы меня не поняли, — прервал на этот раз Мачабели, — я говорил о варварских нашествиях, которым подвергалась Грузия. Ну, а насчет лени мы еще поспорим. Разве ленивый народ смог бы вырастить виноградники или фруктовые сады, о которых вы только что говорили с восторгом. Разве ленивый народ сложил бы крепости и замки, которые восхищают вас!

— Конечно, что и говорить, о какой лени может быть тут речь, — поспешно согласился Яновский, шаря глазами по лицу Мачабели. Потом он скрестил на груди руки и принялся бубнить. Он, попечитель, очень сожалеет, что господин Мачабели отказывается служить инспектором. Он не

понимает, почему его юный друг отдает предпочтение журналистике и не хочет продолжать деловую связь с ним, Яновским, для которого было особенно приятно работать рука об руку с таким способным, одаренным молодым человеком. Хотя не так уж важно, будет Вано инспектором или журналистом, ведь Яновский и Мачабели служат одному делу, движимы одним чувством. Попечитель надеется, что на этом не прервется их знакомство. Они еще встретятся на по-прище общественной деятельности.

«Не приведи господь», — подумал Мачабели, прощаясь с Яновским.

Но они встретились, встретились лицом к лицу. И эта встреча оказалась роковой...

\* \* \*

Вано работает кассиром в Земельном банке. Зарплата ничтожная — 40 рублей. Вано в долгу как в шелку и вынужден расплачиваться с кредиторами. Заложенный им в Тамарашени виноградник не приносит пока что никакого дохода. Так что Вано приходится трудно.

Недавно Илья пригласил Мачабели к себе домой, и они долго беседовали. Разговор касался «Дроэба» и «Иверии». Чавчавадзе начал с того, что слияние этих редакций не пошло на пользу делу. Да, Вано был прав, когда возражал против объединения двух редакций, но сейчас не время вспоминать прошлое, надо принимать меры. Месхи, редактор газеты, устал, переутомился. И неудивительно — выпуск ежедневной газеты в условиях, когда все — от отбора материала и до корректуры — делается руками одного человека — дело не шуточное.

Чавчавадзе рассказал Вано о совещании, на котором присутствовал он, Акакий Церетели, Яков Гогебашвили, Александр Сараджишвили и другие. Хорошенько взвесив все «за» и «против», они решили дать в помощь Месхи одного энергичного работника.

— Все согласились на твоей кандидатуре, — заключил Илья: Мачабели недоверчиво посмотрел на друга.

— Не думай, — поспешил рассеять его сомнения Чавчавадзе, — что это я настоял. Все были за тебя.

Сотрудничество в газете, конечно,

не помешает работе в банке. Более того, Илья думает в скором будущем перевести Мачабели оценщиком. Ну, а в редакцию Вано будет забегать на часок-другой, чтобы прочесть от начала до конца уже готовую газету.

Мачабели не умеет относиться к делу спустя рукава. Поэтому он «забегает» в редакцию не на пару часов, а иногда на целые дни. Вано мечется из банка в журнал, из журнала в банк. Ему не хватает суток.

\* \* \*

Радостно бьется сердце, когда узнаешь из воспоминаний современников о дружбе великих людей прошлых времен.

Тебя охватывает неведомое чувство при одной мысли, что часто встречались и дружески беседовали Гете и Бетховен, Пушкин и Грибоедов, Чернышевский и Добролюбов, Герцен и Николадзе.

Ты с благоговением читаешь письма Мопассана к матери, в которых он рассказывает о вечерах, проводимых им вместе с Додэ, Флобером, Тургеневым, Золя, Мюссе, Жорж Занд...

И, наконец, за душу берут сухие хроники в газете «Дроэба» за 1881 год, которые сообщают, что на редакционном совете по изданию «Витязя в тигровой шкуре» присутствовали Григорий Орбелиани, Илья Чавчавадзе, Акакий Церетели, Рафиэл Эристави, Иван Мачабели, Яков Гогебашвили, Георгий Церетели, Сергей Месхи, Петре Умиашвили...

А собрались они для решения вопроса, который уже несколько столетий волновал каждого грузина. Они должны были путем сличения многих рукописей выявить подлинный текст гениальной поэмы Шота Руставели.

С именем грузинского поэта связano множество легенд. Не менее загадочна и судьба оригинала его поэмы. К сожалению, подлинник «Витязя в тигровой шкуре» не дошел до наших дней, и лишь благодаря огромной любви народа к бессмертному Шота, чья поэма передавалась от поколения к поколению, а потом уже, позже, стала записываться, мы имеем сейчас полный текст этой песни песен грузинской культуры. Собрать все варианты поэмы, отвеять зерна от мякины, установить подлинный руставе-

левский текст — такую задачу поставили перед собой наши общественные деятели.

Старый почтенный поэт Григол Орбелиани обратился ко всем, у кого еще надеялся найти старинные рукописи, с просьбой одолжить их на время работы. Однако владельцы ценных фолиантов не спешили откликнуться на просьбу Орбелиани. Тогда было решено, переложив заседания с осени 1880 года на февраль 1881, отправиться на поиски рукописей.

— Странное настало время, — говорил Григол Орбелиани, — раньше в каждом доме имелась рукопись «Витязь в тигровой шкуре». Ее давали в приданое невесте и ставили на первое место в списке вещей. А сейчас не найдешь и днем с огнем.

Наконец стараниями многих заинтересованных людей было собрано достаточное количество рукописей, и 6 февраля 1881 года комиссия по установлению текста поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» приступила к работе.

В помещении Земельного банка собралось множество народа. На стенах висит огромный портрет Шота Руставели, нарисованный молодым художником Мирианашвили. Место председательствующего занимает Григол Орбелиани. Воцаряется почтительная тишина. Такое ощущение, будто вот сейчас откроется дверь и войдет Руставели. Мерно бьют десять раз часы.

«Под руководством крупного современного поэта, — сообщалось на другой день в хронике, — собравшиеся начали искать в бессмертной поэме «сиротливый жемчуг...» Такова необоримая сила гения Руставели, который шестьсот лет властвует над думами грузин».

Текст читает вслух Рафиэл Эристави. Остальные внимательно слушают с рукописными вариантами.

«Первый удар редакторской кирки пришелся по букве «в», — читаем мы в хронике. — Как яствует из рукописей, написание «вепхисткаосани» неверно, должно быть «вепхисткаосани». Это предложение поддержал и председатель».

Работа над текстом идет медленно, за весь вечер успели прочесть только вступление поэмы. К тому же члены совета недовольны чтением Эристави, который часто глотает буквы, неясно

произносит слова. На следующем совещании пробуют читать вслух другие, в том числе и Илья Чавчавадзе, но и у них тоже получается неразборчиво.

— Помнится, в нашей церкви, — загадочно улыбнулся Григол Орбелиани, — лет двадцать назад один быстроглазый подросток удивительно хорошо читал евангелие. Может он и по сей день сохранил этот дар?

Вано Мачабели смущенно поклонился. Что ж, он с радостью попробует, но если ничего не выйдет, то пеняйте на себя. Через несколько дней газета «Дроэба» назвала Ивана Георгиевича Мачабели «опытным чтецом».

Теперь сравнение рукописей пошло быстрее. Собрания начинаются в 7 часов вечера. С каждым днем людей приходит все больше, споры становятся горячее. В первых рядах сидят видные писатели, общественные деятели. Они держат в руках пожелавшие от времени фолианты и внимательно следят за каждым словом. Кто знает, когда и в каких условиях писались эти рукописи, каким чувством были охвачены сердца и думы безвестных книжников, с такой любовью выводивших каждую букву?! Свечи едва освещают просторный зал. Люди, затаив дыхание, следят за кропотливой работой комиссии. Величественно звучат стихи бессмертной поэмы, иногда кажется, что это доносится из глубины веков голос Руставели.

Издание поэмы Руставели счастливо совпало с приездом в Тбилиси известного художника Михая Зичи-Венгерского гостя настолько очаровали грузинская природа и народ, так пленили образы гениальной поэмы, содержание которой ему подробно рассказал Мачабели, что в порыве восторга и благодарности он предложил иллюстрировать «Витязя в тигровой шкуре».

Но на богатое издание поэмы Руставели требовалось много денег. А где их взять? На помощь пришел счастливый случай. Однажды на вечеринке к Вано, как рассказывает очевидец, шутя обратился изрядно захмелевший коммерсант Георгий Картвелишвили:

— Будь другом, посоветуй, ты ведь и писатель и банкир, куда мне девать деньги. Понимаешь, — он

взял Мачабели за руку и подмигнул друзьям, — мне надоело ломать голову, во что их выгоднее вложить.

— А ты перестань думать о прибыли и сиди себе спокойно, все равно деньги к деньгам придут, — тоже шутя сказал Мачабели и вдруг, вспомнив о трудностях с «Витязем», предложил: — Дай их на издание Руставели.

— Ах нет, дудки, — мигом отрезвел купец, — ты подскажи выгодную сделку, тогда я с превеликим удовольствием.

— Что ж, по рукам, — уже серьезно приступил к делу Вано. — К нам поступили сведения, что в Картли ожидается богатый урожай хлеба. Скупи его на корню. И крестьян выручишь, и сам не останешься внакладе. Можешь мне верить, к твоему счету в банке прибавится еще пара нулей.

— Пожалуй, ты прав, — почесал затылок Картвелишвили.

— А как с Руставели? — ожидался Вано.

— А почему бы его не издать, — согласился коммерсант. — Только вот как будет... — он помялся и выпалил: — с моей фамилией?

— Она обязательно будет стоять, как же иначе, — поспешил заверить его Мачабели.

Итак, было решено. Поэма «Витязь в тигровой шкуре» будет печататься на хорошей бумаге, в богатом оформлении. Издатель — Георгий Картвелишвили, художник — Михай Зичи, редактор — Иванэ Мачабели.

«Сейчас, кроме театра, на моей шее издание Руставели, — жаловался Вано другу детства. — Хотя составлена специальная комиссия, но ты служил в Думе и прекрасно знаешь цену всем этим комиссиям...»

Фактически Мачабели приходилось нести обязанности не только редактора, что само по себе очень сложно, но и организатора, корректора. К тому же надо было упорядочить орфографию.

«Приходится биться над новой рецензией знаков и орфографии, — пишет Вано переводчику Руставели на французский язык Ионе Меунаргия. — Если бы ты увидел составленный мною список, как, где и что должно писаться, ты, наверно, схватился бы за голову. Иногда мне кажется, что Руставели было наплевать

с высокой колокольни на все эти знатки и, учись он в гимназии, не вылезал бы из двоек. А я морочусь себе голову каждой запятой...»

Особенно много хлопот доставило Мачабели художественное оформление. Зичи поставил в Тбилиси по «Витязю в тигровой шкуре» живые картинки и, обещав прислать двенадцать рисунков, уехал в Петербург.

Вано вел активную переписку с братом, просил его поторопить художника с окончанием работы, немедленно приступить к изготовлению клише. Вскоре Зичи прислал иллюстрации.

«В знак моей симпатии и сердечной преданности грузинскому народу», — писал венгерский художник. В конверт было вложено и личное письмо к Мачабели.

«Я посылаю Вам не 12, а 32 эскиза для выбора. Отметьте, которые понравятся, пронумеруйте и скорее высыпайте обратно... Буду очень рад, если смогу оправдать ваши надежды и достойно оформлю сочинение Руставели. Хотелось бы напечатать эти рисунки путем цинковых клише. Обойдется это недорого... Поступайте так, как подсказывают Вам ваши желания и возможности. Я считаю себя счастливым, что могу осуществить Ваши прекрасные замыслы... Со своей стороны я издаю все 32 рисунка, а может, прибавлю еще, для Западной Европы, маленький альбомом. Этим, думаю, буду способствовать еще большей популярности великого Шота среди широкого читателя... Прошу Вас отнести к моим рисункам так, как относятся грузины к женщине, — нежно и трепетно».

Иллюстрации Михая Зичи попали в такие руки, которые иначе, как «нужно и трепетно», не могли к ним отнести.

Вано Мачабели не только помогал Зичи в выборе типажа, пока тот готовил в Грузии, но и посыпал ему в Петербург фотографии с картин древних грузинских художников, копии фресок, старинного орнамента. И венгерский художник шлет ему телеграмму:

«Благодарю, высоко ценю Вашу дружбу. Зичи».

Я с умывлом остановился так подробно на Михае Зичи. Грузинский народ с большой любовью и уважением вспоминает этого прекрасного

человека и чудесного художника. Зичи так полюбил грузин и их культуру, что в течение многих лет совершенно бескорыстно с увлечением и страстью работал над оформлением сокровищницы нашей культуры — поэмы «Витязь в тигровой шкуре».

И сейчас в нашем сознании так тесно переплелись эти два имени, Руставели и Зичи, как в сознании испанцев имени Сервантеса и Дорэ.

Грузинские деятели тех времен своей неутомимостью и преданностью родине вселяли в сердца каждого гостя Грузии огромные симпатии к нашей большой духовной культуре. Хочется еще добавить, что молодой русский композитор Ипполитов-Иванов, который тоже в те годы побывал в Грузии и был пленен мелодичностью народных песен, решил создать оперу на тему поэмы «Витязь в тигровой шкуре». Либретто ему написал Иван Мачабели.

\* \* \*

Опасения Вано были не напрасны. Прошло менее двух лет, и объединенная редакция «Дроэба» — «Иверия» раскололась. Мачабели перешел в журнал «Иверия», став фактически его редактором. (Загруженный служебными и общественными делами, Илья Чавчавадзе полностью доверил это важное дело своему юному другу). Мачабели вновь мечтается между журналом и банком, вновь проводит без сна夜里, пишет, редактирует, переводит. «Вано оказался старательным, расторопным и толковым работником, — пишет один современник, — все горело у него под рукой. Редко можно было встретить среди нас такого неутомимого человека».

С приходом Вано журнал стал многообразней, живей, интересней. Расширились отделы внутренней и внешней жизни, появились острые статьи, фельетоны, интересные рассказы. Мачабели удалось привлечь к сотрудничеству в «Иверии» лучшие силы тогдашней литературы, и это, конечно, сказалось на качестве печатаемого материала, на глубине затрагиваемых тем.

И вдруг, неожиданно для всех, дружба Чавчавадзе и Мачабели дает трещину. Правда, трещина эта еще совсем маленькая, почти незаметная, ее можно легко уничтожить. И это

надо сделать сейчас же, пока не поздно. Иначе она разрастется, расширится и станет пропастью<sup>135</sup>. Пропастью, которая ляжет между двумя верными сынами отчизны, двумя видными общественными деятелями. Возникнет два противостоящих друг другу лагеря, разгорится смертельная борьба, вспыхнет костер вражды, который охотно будут раздувать царские наемники и недовольные дворяне. Сорняк забьет молодые побеги, взлеянные с таким трудом виноградники заастут плевелами.

Вано Мачабели не был баловнем судьбы. С детства он рос в нужде и, как мы видели, часто своим горбом зарабатывал на кусок хлеба.

Зато Вано Мачабели был избалован хорошим к нему отношением людей. В детстве его баловала тетя. Она гордилась способностями внука племянника и выделяла его среди других детей. В годы учения его баловал брат. Он твердо верил в талант Вано и всячески старался уберечь юношу от невзгод. Педагоги ставили Ивана Мачабели в пример другим ученикам. Известный поэт Орбелиани не скрывал своих симпатий к умному мальчику. Первые литературные опыты Вано встретили горячий отклик Ильи Чавчавадзе, который даже стал его соавтором по переводу. Во многих странах Европы уважали и ценили Мачабели, тепло принимали его. Вернувшись на родину, Вано без страха и сомнений ринулся в самую гущу литературной борьбы и уже с первых дней стал рядом с Ильей Чавчавадзе. К этому взлету он был подготовлен всей предшествующей жизнью, поэтому принял его как должное. И тем труднее оказалось Вано мириться с несуразностями, которыми полна была тогдашняя жизнь. Тем болезненнее он реагировал на всякие мелочи, которые не задели бы менее избалованного дружбой человека.

Один современник удивляется в своих воспоминаниях враждебным отношениям Чавчавадзе и Мачабели. Ведь они дополняли друг друга: чего не хватало одному, было в избытке у другого. «Илья — всегда спокойный, неторопливый, вдумчивый. Он прежде чем отрезать, семь раз измерит... Вано — очень горячий, вспыльчивый. Он страшно не любит откладывать решение в долгий ящик, во

всем рубит с плеча. Его любимая поговорка: то, что можно сделать сегодня, не откладывай на завтра. Вано бурлит, энергия в нем переливается через край».

Однако недоумевающий современник забыл одну «маленькую» деталь, которая проливает на многое свет. Оба они были болезненно самолюбивы.

На протяжении многих лет борьбы Чавчавадзе с Мачабели не раз бывали минуты, когда они с радостью поожали бы друг другу руку, но ни один из них не решался первым протянуть ее. К тому же часть общества, развлекающаяся жестокой враждой, подбрасывала в огонь хворост...

А началось все с разногласий по банковским делам. Обсуждался вопрос распределения прибылей по различным общественным организациям. Мачабели настаивал на том, что распределением должны заниматься основатели банка. Чавчавадзе был иного мнения. Вспыхнув, Мачабели заявил, что если не пройдет его предложение, то он бросит все дела и уедет в деревню, займется хозяйством. Чавчавадзе обидело такое резкое выступление против него. «Ты, оказывается, на редкость самоуверен», — сказал он Вано в присутствии всех. Самоуверенный! Мачабели и раньше слышал в свой адрес это слово, но не обращал тогда внимания, не придавал значения. Когда же его повторил Илья, Мачабели побелел от обиды.

Незадолго до этого неприятного столкновения Чавчавадзе поделился с Вано своими планами. Он уже давно собирается поставить перед общественным собранием банка вопрос о назначении третьего директора. Двум, ему и Авалишвили, становится все труднее и труднее руководить сложными операциями. К тому же появилась необходимость ездить по делам в Ереван, Александрополь, Баку, и сейчас, как никогда, нужен третий директор. Чавчавадзе и Авалишвили перебрали в памяти всех кандидатов и остановились на Васо Мачабели, петербургском юристе. Вано должен написать брату как можно скорее и попросить согласие.

Чавчавадзе не сказал тогда Вано, что, в случае отказа его брата, для Ильи уже решен вопрос, кому быть

третьим директором, — Иванэ Мачабели.

Ответ из Петербурга ~~попришел~~ <sup>на</sup> редкость уклончивый, двусмысленный. Васо Мачабели писал, что если его брат, Вано, согласится выставить свою кандидатуру, то он отказывается от этого лестного предложения. Теперь уже Чавчавадзе ничего не оставалось, как открыть карты. Он сделал Вано Мачабели официальное предложение избираться третьим директором земельного банка.

А сейчас Давид Авалишвили, отозвав в сторону Чавчавадзе, сказал ему с упреком: «Ты не хотел прислушаться к моему мнению, но теперь, надеюсь, убедился, каков твой Вано. Еще раз повторяю, Мачабели нельзя даже близко подпускать к управлению банком».

Вскоре Авалишвили уехал по срочному делу в Петербург. При первой же встрече с Васо он сказал ему:

— Мы хотели избрать твоего брата директором, но он оказался слишком горячим и неуравновешенным. Как видно, его кандидатура не пройдет. Илья тоже этого мнения.

Васо поспешил написать брату о беседе с Авалишвили и просил объяснить ему, что произошло, чем он обидел Чавчавадзе. Письмо брата для Вано было такой неожиданностью, словно его ударили обухом по голове.

— Что же получается, — терялся он в догадках, — ведь Илья только сегодня утром повторил мне предложение стать директором. Неужели?.. Нет, Илья не такой человек. Это Авалишвили мутит воду...

Однако с этого дня Вано почему-то стал избегать откровенного разговора с Ильей, замкнулся, ушел в себя.

Беды, как известно, плодливы: одна недомолвка потянула за собой целую вереницу обид, подозрений, сомнений. Теперь небрежно оброненные слова Мачабели, дескать, на его плечи легли все трудности по изданию «Иверии», обрели иной смысл. Их с показным негодованием передали Чавчавадзе как жалобу Вано на редактора. А вопрос о третьем директоре отпал сам собой. Комитет по надзору не утвердил предложение И. Чавчавадзе, так что общественное собрание даже не приступало к его разбору.



\* \* \*

Жизнь текла по-прежнему руслу. Редакции «Дроэба» и «Иверии» не покладая рук боролись за национальное единство, развитие литературы, чистоту языка, просвещение народа. Борьба шла острая и неравная. Ей отдавали все силы, всю жизнь наши славные писатели, артисты, журналисты. Она ломала железные здоровые и стальную волю. Но патриоты своей родины не боялись лишений и невзгод, не отступали перед трудностями. Таким был и Сергей Месхи. Четырнадцать лет неустанно сражался он с невежеством, насилием, цензурой. Четырнадцать лет не досыпал он ночей, не знал отдыха и покоя. И вдруг поднялся, как раненный в горячей схватке воин. Он оглянулся вокруг, ища глазами, кому передать пронесенное сквозь бури и пожарища знамя, и остановил свой взгляд на Вано Мачабели.

Переход газеты «Дроэба» в руки Вано Мачабели не прошел безболезненно. В номере от 28 апреля 1883 года было опубликовано следующее редакционное сообщение: «В связи с переходом «Дроэба» к новому хозяину мы вынуждены временно прекратить выпуск газеты». Только 8 мая, то есть через десять дней, читатель получил следующий номер «Дроэба». В продолжение этого перерыва шли ожесточенные бои за место редактора. Это были уже завершающие атаки, так сказать, штурм крепости. А осада и подготовка к последнему прыжку началась давно, еще за несколько месяцев до опубликования редакционного сообщения. Все началось с категорического требования врачей, чтобы Месхи оставил работу. Ни у кого не было сомнения, что Илья Чавчавадзе назовет кандидатуру Вано Мачабели, который считался вторым редактором «Иверии». Однако Чавчавадзе, ко всеобщему удивлению, предложил на место редактора «Дроэба» некоего Кананова. Общественность была озадачена таким нежданным поворотом событий. Враждебный шаг Ильи Чавчавадзе поверг Вано в уныние. И тут же, взрывая последний мост, он решительно порвал с «Иверией».

«Месхи очень болен, врачи запретили ему года на два браться за перо, — пишет Вано своему брату в

Петербурге, — за газету он просит 6 000 рублей, из которых 4 500 пойдет на расплату с редакционными долгами, а остальное на излечение от болезни. Деньги уже собирают. Но впереди еще много трудностей. С одной стороны, не так легко найти человека, который смог бы достойно вести газету, а с другой, — собрать эти деньги. Чавчавадзе хочет видеть редактором Кананова. Остальные, почти все, против, ибо этот проходимец, еще работая в журнале, доказал свою никчемность. Особенно против него молодежь — они просят меня взять на себя обязанности редактора. Как смотришь на это ты?..»

Кананов с помощью Чавчавадзе уже чуть было не стал редактором. Во всяком случае многие были уверены в его победе. События чередовались с быстрой калейдоскопа. 8 мая в частном письме к Нико Николадзе один из его друзей писал: «Дроэба» на этих днях переходит в руки Чавчавадзе, редактором назначен Кананов». Но письмо, как видно, он не успел отправить, и уже на второй день пришлось перечеркнуть Чавчавадзе и написать сверху «другие», а над фамилией Кананова поставить И. Мачабели.

Оказывается, Вано удалось в последнюю минуту раздобыть деньги, и Сергей Месхи, несмотря на некоторые убытки, все же предпочел отдать газету опытному и талантливому журналисту — Ивану Георгиевичу Мачабели стал редактором единственной грузинской газеты «Дроэба».

В эти дни только и было разговоров о поражении Чавчавадзе, которого так ловко посадил в галошу его юный соперник.

Мурашки пробегают по коже, когда перечитываешь слова Сергея Месхи, обращенные к «своей любимой газете».

«Четырнадцать лет пестовал и лелеял я «Дроэба». И все эти годы мы встречались с читателем (вначале раз в неделю, затем три и, наконец, почти каждый день), беседовали по душам о наболевших вопросах. Много лишений выпало на нашу с газетой долю. Много испытаний пришлось перенести, много препятствий преодолеть... Хорошо или худо, но мы сра-

жались, мы не сложили оружия до последних дней. И сегодня, это я могу сказать с полным правом, я передаю новому редактору честную и ничем не запятнавшую себя газету...

Это моя исповедь. Сломленный тяжкой болезнью, я, к великому сожалению, вынужден покинуть газету. Прощай, моя любимая газета, прощай, мой дорогой читатель!...

Всякий поймет, с каким чувством и сердцем я говорю эти слова расставания газете, которой отдал всю молодость, весь жар души, все силы...»

Вано Мачабели принял из рук Сергея Месхи газету «Дроэба». И через ту же газету обратился к бывшему редактору с прочувственной речью:

«Спасибо, от всего сердца спасибо тебе, мученик своего долга, преданный пастырь единственной грузинской газеты. Принимая из рук Сергея Месхи «Дроэба», мы хотим перед лицом всего общества дать ему слово, что не будем мачехой столь любимой им газете. Мы надеемся, что возвращенная в печали и горьких думах «Дроэба» когда-нибудь станет свидетелем более счастливых дней».

Далее, обращаясь к читателю, Мачабели рассказывает, какие муки терпел ее редактор.

«Получая каждое утро свежую газету, вы, наверно, ни разу не задумались над тем, сколько труда и мучений вложено в этот один листок бумаги. Попивая чай, вы лениво пробегаете глазами передовую и не знаете того, сколько длинноющих писем и корреспонденций пришлось прочесть редактору, чтобы сделать одну приличную статью или выжать три строчки для «новостей дня»... Никого не интересует настроение или здоровье редактора. Он должен писать передовую, фельетон, заметки и в то же время быть в вечном страхе, как бы какая-нибудь корреспонденция не вызвала «процесса о диффамации».

В наше время на редакторе лежит такой груз, по сравнению с которым ярмо крестьянина покажется легким. Даже человек с сердцем Амирана не смог бы вынести стольких терзаний!..

И этот тяжелый груз нес на себе в течение четырнадцати лет Сергей Месхи.

Зачем он ввергал себя в такие муки, может спросить читатель, жертвовал своей жизнью делу, которое

вместо обеспеченной старости принесло ему нищету?

А затем, что он заботился о потомстве, видел в газете силу, способную разбудить **общественное сознание...**

Взволнованно обратился к старому редактору Мачабели и на обеде, устроенном Сергею Месхи грузинской общественностью в Верийском саду. Около ста человек собралось тогда. Компания была в сборе, зурна играла лихую плясовую. Вдруг упала тишина. По аллее шел, опираясь на палку, сгорбленный тридцативосьмилетний старик. От волнения землистые щеки Сергея Месхи покрылись болезненным румянцем. Люди, ошеломленные этой картиной, растерянно сняли шляпы. Что это было: знак уважения к сединам молодого человека или последняя дань так рано загубленной жизни?!

Свинцовье тучи обложили небо. Тяжелые капли дождя принялись бить иссохшую землю. Стол, накрытый на чистом воздухе, поспешно перенесли на балкон. Один за другим поднимались общественные деятели, писатели, журналисты выразить Сергею Месхи любовь и благодарность.

Через несколько месяцев грузины шли с непокрытой головой за гробом Сергея Месхи.

«Благословенной деснице Сергея Месхи, его кипучей энергии и беспрепредельной любви к отечеству мы обязаны тем, что «Дроэба» стала газетой всех грузин. Его стараниями посаженное на искусственной почве дерево дало глубокие корни — газета стала каждодневной потребностью многих грузин. И мы преклоняем колени перед неустанным борцом «на тернистой дороге жизни» во сто крат более тернистой для него!..»

Так заканчивалось прощальное слово газеты «Дроэба» к своему редактору.

Вскоре Вано Мачабели нанес Илье Чавчавадзе еще одну рану. На общественном собрании земельного банка один из его директоров — Авалишивили заявил о принятом им решении не выставлять своей кандидатуры для баллотировки. Но на следующее утро передумал и взял свои слова обратно.

Вано Мачабели и до этого таил злобу на Авалишивили, а теперь и

вовсе взбеленился. На предложение председательствующего избрать Авалишвили без всяких процедур Вано решительно ответил:

— Это не соответствует нашим правилам. Я знаю, что заранее обречен на поражение, и все же рядом с урной Авалишвили ставлю свою. Голосуйте!

Конечно, Вано ради красного словца заявил об уверенности в своем поражении, на самом деле он питал надежды на победу.

И победил.

Иванэ Георгиевич Мачабели был избран большинством голосов директором земельного банка.

Так за короткий промежуток времени Вано Мачабели дважды заставил Илью Чавчавадзе познать горечь поражения.

Интрига великой драмы завязалась.

Вано Мачабели, став редактором «Дроэба», решил вести газету по тому же пути, что и Сергей Месхи. И подчеркивая эту преемственность, он, в нарушение традиции, не опубликовал своей программы. Газета оставалась на демократических принципах и «служила устремлениям нового поколения». Понятно, заявить об этом открыто Мачабели не мог.

Стоит хотя бы бегло просмотреть подшивки номеров «Дроэба» того периода и станет ясно, какую жестокую и по-мачабелевски открытую борьбу вела газета со всем бесчестным, антинародным.

Фронт сражения растянулся, он уже охватывал почти все сферы тогдашней жизни — начиная с морально-этических вопросов и кончая международной политикой.

Обозрения «Дроэба», будь они внутренние или внешние, представляли собой не простой перечень фактов, а оценку того или иного события.

Материал поступает в огромном множестве, но он еще сырой, нуждается в переработке, часто даже приходится переписывать заново. Случаются и курьезы. Мачабели любит вспоминать о них за дружеской беседой.

Один сотрудник принес на подпись редактору свою статью «Зачем отправился Мухтар-паша в Европу». Вано прочел ее до конца и ничего не понял.

— А все же, что надо Мухтар-паше за границей?

— Не поняли? — растерялся автор.

— Нет.

— Говоря по совести, знаю, — признался он смущенно.

Как-то одно влиятельное лицо пригласило редактора «Дроэба» на чашку кофе. Хозяйка радушно приняла гостя. Она оказалась настолько любезна, что посвятила Мачабели в свою тайну: в свободное от домашних забот время она занимается переводами. Кстати, она не стала бы возражать против опубликования переведенного ею рассказа в «Дроэба». Редактору ничего не оставалось, как поблагодарить жену чиновника за честь, оказанную его газете. Мачабели не хотелось терять влиятельного «сотрудника» — такие уж были времена — и он заново перевел весь рассказ от начала до конца. Жена чиновника не очень огорчилась, когда не узнала своего перевода.

Но все это были мелочи по сравнению с огорчениями, которые доставляли Мачабели некоторые сотрудники. Тяжелым камнем лежал на его сердце случай с опубликованием в «Дроэба» клеветнической статьи на Казбеги, с которым Вано связывала искренняя дружба.

Мачабели с первого же знакомства потянуло к Александру Казбеги. Дружба их была трогательной, задушевной. Вано возлагал на Казбеги большие надежды и всячески старался облегчить его тяжелое положение. Казбеги часто в минуты отчаяния или хандры захаживал к Мачабели в надежде развеять печаль, ободриться.

Конечно, не случайным было и то, что именно в газете «Дроэба» Казбеги опубликовал свои первые рассказы. Когда Вано стал редактором «Дроэба», он попросил своего друга написать для газеты рассказ Казбеги в те дни собирался уехать в Батуми, но Вано он не смог отказать, и поездка была отложена. Тут же, в редакции Казбеги начал писать рассказ «Циция». Вано наблюдал за ним с печальной улыбкой. Что-то загадочное и вместе с тем привлекательное было в этой трагической личности. Его детская наивность и детская же вспыльчивость трогали сердце. Пустив на ветер состояние отца, сейчас он с той же беззаботностью и щедростью растрачивал свой талант. Казбеги сидел в углу неубранного

кабинета и смотрел куда-то мимо окон. Он видел покрытые девственно-белым снегом вершины и душевно чистых, благородных горцев, он слышал, как сумасшедшие бьются о камни Терек и стонет в горячке, слышал проклятия героев, израненных отжившими век адатами. Он плакал, писал и плакал...

Вано, охваченный злым предчувствием, смотрел на Казбеги сквозь слезы. Казбеги душит спертый воздух эпохи. Черствость людей, эгоизм, цинизм замораживают кровь. Нервы его натянуты и могут лопнуть от одного неловкого прикосновения. Сейчас, как никогда, Казбеги нужна ласка, ласка и признание, — думал про себя Мачабели.

В тот день Казбеги закончил первую главу своего рассказа «Циция». Вано немедля опубликовал начало рассказа, пообещав дать «продолжение в ближайших номерах». Однако, к недоумению читателей, которые с нетерпением ждали каждый номер «Дроэба», газета прекратила печатанье рассказа. Взамен «Ции» читателю были предложены статьи с руганью Александра Казбеги.

— Неужели и Вано меня предал, — повторял Казбеги, разрывая газету на куски. — Чего они хотят от меня? Почему все лютят на мою голову помой? Ведь я не делал ничего дурного. Нет, я просто рожден под несчастливой звездой.

Откуда он мог знать, что у Мачабели обливалось сердце кровью, что и у Вано этот пасквиль вызвал слезы горючие.

Вскоре история этих статей стала известна публике. Оказывается, Мачабели уехал по банковским делам в отдаленное село. Его отсутствием воспользовался сотрудник газеты Давид Кезели, который решил свести с Казбеги счеты. Мачабели получил «Дроэба» с большим опозданием, когда уже вышло несколько номеров. Прочтя гнусную статью Кезели, он бросил все дела и приехал в Тбилиси. В тот же вечер Вано в резкой форме предложил клеветнику оставить редакцию. Казбеги, узнав об этом, радостно воскликнул:

— Я так и знал, Вано не нанес бы мне такого удара!

5 сентября в газете «Дроэба» было помещено «прощальное письмо» Давида Кезели.

«Господин редактор, — обратился он в заключение к Мачабели, — как Вы желаете убедить меня, большинство читателей Вашей газеты выражает недовольство моим долгим сотрудничеством в «Дроэба». На самом деле, просто мы не нашли с Вами общего языка... Доброжелатель Вашей газеты Давид Сослан (Кезели)».

Каким «доброжелателем» газеты был Кезели, видно из тайных доносов и грязных слухов, которые он пустил о «Дроэба» по городу. Кезели развел такую деятельность, что редакция была вынуждена поместить на своих страницах характеристику этого интригана и проходимца.

Продолжение рассказа Казбеги «Циция» газета начала печатать 10 сентября.

\* \* \*

В память Иванэ Мачабели глубоко запали слова первого редактора «Дроэба» Георгия Церетели: «Мы не должны забывать еще об одном значении газеты — она собирает и объединяет весь народ». Редактируя «Дроэба», Мачабели неукоснительно следовал этому завещанию. Почти в каждом номере он печатал информации о жизни страны, о горе и нищете народа, о событиях в том или ином уголке Грузии. На страницах «Дроэба» мы можем прочесть этнографические и историко-политические обозрения Сванетии, Мегрелии, Абхазии, Гурии, Осетии.

Мачабели делал все для сближения и сплочения всего населения Грузии. Но это не устраивало царских чиновников, которые пускались на все, лишь бы разобщить, разъединить население страны. Особенно усердствовал в проведении этой политики — разделяй и властью — попечитель Кавказского учебного округа Яновский. С первого же дня своего назначения он повел смертельную войну с Мачабели, газета которого распространяла неугодные царизму идеи.

Стараясь держаться в тени, Яновский наусыкивал на «Дроэба» цензоров. Поэтому часты бывали случаи, когда «Дроэба» выходила с большим опозданием и случайными, наспех поставленными материалами, которые, как небо от земли, отличались от запрещенных в последнюю минуту

цензурой. Редакции все чаще и чаще приходилось извиняться перед читателем за опоздание, виной которому была «одна опорочившая себя организация».

Затяжная, нескончаемая борьба с цензурой выматывала, изнуряла сотрудников «Дроэба». Она не только лишила их покоя и сна, но и расшатывала здоровье, нервы. О том, как измывались цензоры над редакцией «Дроэба» и до каких крайностей доводили ее сотрудников, можно судить хотя бы по сцене, которую мы оживим по воспоминаниям современников.

Вечереет. После многих волнений, номер готов к печати. Леванишвили, молодой сотрудник редакции, в хорошем настроении: наконец-то он свободен и может провести вечер с друзьями в Муштаиде. Затянув в талии чоху и поправив кинжал, он с веселым лицом входит в кабинет редактора. Мачабели сидит за столом и просматривает корректуру завтрашнего номера. Взглянув тайком на вырядившегося сотрудника, он с трудом прячет в усах улыбку. Леванишвили хочет погулять, что же, после такого, полного хлопот дня, не мешает развлечься. Молодой человек, пожелав Мачабели всего хорошего, направляется к двери. Но тут он сталкивается с наборщиком, который держит испещренную красными чернилами полосу газеты и ругается самой ярмарочной бранью. Цензор Лука Исаарлов вновь задержал газету!

Мачабели, несмотря на вспыльчивость, холодно принимает эту новость. Зато его молодой сотрудник мечет громы и молнии. Выхватив из рук наборщика газету, он сломя голову мчится в комитет по цензуре. Секретарь Исаарлова преграждает молодому газетчику дорогу: цензор занят неотложным делом и сейчас не может принять. Леванишвили хватает его за ворот и кричит на ухо что есть силы:

— Пусти, не то из тебя душу вытряхну!

Он врывается в кабинет цензора, с шумом захлопнув за собой дверь. За грудой бумаг, беспорядочно наваленных на столе, торчит бритая, похожая на череп доисторического животного, голова Исаарлова. В глубокой впадине глазниц бегают две противные мышки. На мгновение они

останавливаются, трусливо смотрят на Леванишвили.

— Ну-ка, подпиши эту полосу, — приказывает владелец кинжала. Расширенные страхом глаза Исаарлова просят пощады.

— Постой, дорогой, не надо волноваться, — лепечет цензор.

— Крови, крови жаждет мой кинжал, — уже предвкушая победу кричит молодой журналист. — Ну, выбирай: или ты подпишешь газету или свой смертный приговор.

Лысина цензора покрывается испариной, в глазах стоит страх. Дрожащей рукой он подписывает в свет номер «Дроэба».

— Растипа, — не унимается Леванишвили, — где ты ставишь подпись. Вот здесь надо.

Но Исаарлов не смотрит на газету, его взгляд прикован к кинжалу. Наконец молодой человек так же шумно захлопывает за собой дверь, и Исаарлов облегченно вздыхает — пронесла нелегкая.

Это один из множества случаев, когда цензор доводил сотрудников газеты до белого каления.

А сколько раз Мачабели приходилось терпеть издевательства цензоров, сколько ночей он проводил без сна, сколько серебра прибавилось в волосах. Исаарлов получал особое удовольствие в истязании журналистов. «Это был настоящий старорежимный чиновник с черствым, как камень, сердцем и пустой головой. Ни добрым словом, ни убеждением, ни просьбами, ни мольбой нельзя было растрогать это каменное сердце», — пишет один современник.

Много крови испортил Исаарлов Мачабели. По вине цензора чуть ли не каждый готовый к печати номер приходилось перекраивать, наспех заменяя статьи. Но Мачабели не думал сдаваться. Он шел напролом и до конца остался верен высоким идеалам шестидесятников. Вано Мачабели был возвращен прогрессивными идеями великих русских мыслителей и вел такую же, как русская пресса тех времен, смелую борьбу с царизмом.

Эта неравная борьба становилась с каждым днем все более опасной для Мачабели. «Здешняя цензура свирепствует, — писал он брату, — нашим литераторам даже вздохнуть не дают».

Чиновники огнем и мечом подавля-

ли всякое проявление живой мысли, так что даже попытка поднять голову была сопряжена с опасностью вообще ее потерять.

В такой-то обстановке и приходилось нашим славным общественным деятелям бороться за свободу, за пропаганду народного просвещения народа.

Не менее опасной была и тайная война, которую вели царские чиновники против грузинской прессы. Пользуясь услугами анонимщиков и подонков, они подчас нащупывали уязвимые места и наносили по ним удары. Удары эти были тем больше, что застигали врасплох. Так произошло, например, с письмом горийских студентов. 28 апреля 1885 года на имя редактора «Дроэба» пришло письмо:

«Грузины — учащиеся Горийской семинарии получают бесплатный номер «Дроэба», за что и благодарим Вас от всего сердца. «Дроэба» на сегодня одна-единственная газета, которая знакомит нас с событиями в стране. Она сближает нас, семинаристов, с жизнью народа и этим готовит к жизненному поприщу. Только невежда или полоумный станет отрицать большое значение Вашей газеты. Однако, как говорят в народе, беда поверху плыла, погодой к нам прибило...

У Вас один цензор, у нас же «нестя им числа». Для того чтобы попасть к нам, «Дроэба» должна пройти через сорок рук и тысячи паутинных нитей. Каждый номер мы получаем с опозданием на неделю. Да и то до нас доходит один номер из десяти, словно оторвавшийся от стаи журавль. А сейчас по приказу попечителя уезда нам и вовсе запрещено получать периодику, в том числе, конечно, и «Дроэба». Поэтому, если Вас не затруднит, высыпайте нам газету по новому адресу: Гори, Виссариону Гогохия. Он, как частное лицо, может получать любую газету, мы же с помощью этой хитрости проведем наших ретивых опекунов».

В тот же день копия этого письма была доставлена Яновскому. Не в силах сдержать гнева, попечитель сгреб в портфель все секретные документы, доносы, анонимные письма и поспешил дождить начальству.

Пока Яновский семенил к кабинету начальника, заглянем в его портфель

и ознакомимся с некоторыми документами.

Прочтем сначала копию обращения, которое он направил 3 февраля в цензурный комитет.

«Милостивый государь, Константин Васильевич! Газета «Дроэба» отличается постоянным вредным направлением для учащегося юношества, печатая статьи, заключающие извращенные сведения об учебных заведениях Кавказского учебного округа или неправильно объясняя распоряжения учебного начальства. Для примера я могу указать на № 10 «Дроэба» текущего года, в котором, между другими ложными сведениями о распоряжениях учебного ведомства, высказывается порицание автору одного учебника за то, что он не скрывает этого учебника, забракованного редакцией «Дроэба», а представил его на рассмотрение ученого комитета Министерства народного просвещения и теперь объявляет, что учебник его одобрен Министерством народного просвещения и может быть приобретен для школьного употребления. Следовательно, редакция желает распространения в училищах только таких учебников, которые удовлетворяют ее целям, и стремится унизить в мнении преподавателей такие учебники, которые рекомендуются Министерством народного просвещения.

Вместе с тем редакция «Дроэба» не ограничивается только печатанием подобных статей, но и бесплатно рассыпает их по учебным заведениям для чтения учащимся, как В. П. изволите убедиться из прилагаемого печатного адреса, по которому «Дроэба» распространяется между воспитанниками учительской семинарии.

Таким образом, «Дроэба» намеренно стремится подорвать в учащихся доверие к установленным в учебных заведениях порядкам и разворачивает учащееся юношество.

Вследствие сего, имею честь покорнейше просить В. П. сделать распоряжение: а) о недопущении, на основании известного циркуляра Министра внутренних дел, печатания в «Дроэба» статей, содержащих неверные сведения об училищах Кавказского учебного округа и б) о воспрещении редакции «Дроэба» самовольного распространения издаваемой ею газеты между воспитаннико-

ми Кавказских учебных заведений; о последующем же меня уведомить, с возвращением приложения. С истинным уважением и совершенной преданностью имею честь быть В. П. покорнейший слуга К. Яновский».

А вот и ответ цензурного комитета.

«Газета «Дроэба» с переходом в руки настоящего ее редактора кн. Мачабели стала обнаруживать явно несочувственное направление и, несмотря на самое строгое и притязательное отношение цензуры к этой газете, редактор ее с упорством и настойчивостью продолжает представлять в цензуру такие статьи, которые, как ему хорошо известно, ни в каком случае не будут одобрены для печати. Насколько цензура требовательна к этой газете В. П. изволите усмотреть из того факта, что по отчету за истекший год оказалось, что из числа всех задержанных по грузинской журналистике статей 6/7 приходится на одну газету «Дроэба» и только 1/7 на все остальные издания. Несмотря на все это, общее направление газеты представляется, как и В. П. изволили заметить, крайне нежелательным... Зная же общее направление деятельности кн. Мачабели и его убеждений, с полной уверенностью можно высказать, что пока во главе редакции «Дроэба» стоит кн. Мачабели, газета не изменит ни своего направления, ни тех приемов, которые ныне практикуются. Евиду этого, комитет пришел к заключению о необходимости отстранить вовсе кн. Мачабели от редактирования газеты»...

Это письмо Яновский получил 22 февраля. Был уже май, но положение не изменилось.

Попечитель рванул на себя дверь приемной Дундукова-Корсакова и тут же, на пороге, преобразился — плечи опустились, голова склонилась набок, губы сложились в вежливую улыбку. Попечитель Кавказского учебного округа обстоятельно изложил начальнику свои соображения. Дундуков-Корсаков казался рассеянным и недовольным. Он вынул из письменного стола какую-то бумагу и протянул ее Яновскому.

«...Пока кн. Мачабели стоит во главе редакции, — прочел вслух Яновский, — газета не изменит ни своего направления, ни тех приемов, которые ныне практикуются.

Редакция газеты с видимым упор-

ством и настойчивостью продолжает вносить на просмотр цензуры статьи в том же духе, совершенно игнорируя делаемые ей цензурные указания. Обращаемые к редакции разного рода законные требования со стороны цензора или комитета, касающиеся издания, остаются без исполнения, иногда даже без ответа или же вызывают личную явку в канцелярию комитета редактора кн. Мачабели, который, делая те или другие словесные заявления, облекает их всегда в форму крайне неприличную и дерзкую»...

Это обращение цензурного комитета Дундуков-Корсаков послал в свое время Министру внутренних дел. Но, как видно, петербургского вельможу трудно было удивить подобными «опасными и нежелательными действиями», когда у него самого под носом происходили не менее дерзкие и опасные выступления против царского правительства. Поэтому он советовал Дундукову-Корсакову: «Я знаю по опыту (а опыта министру не приходилось занимать у других!), что смена редактора фактически ничего не меняет. Новый редактор будет фиктивным, и на самом деле газету будет вести все тот же старый редактор. Цензура должна нажать на все тормоза и не дать злоумышленникам шевельнуться. Следует запрещать не только те статьи, в которых отчетливо видна антиправительственная направленность, но и те, в которых угадывается нежелательная нам мысль.

Систематическое изъятие из уже готовой к печати газеты тех или иных материалов ввергнет редактора в такие долги, что выпутаться ему будет не просто. Тогда издатель окажется вынужденным или изменить направление газеты или же сменить весь редакционный состав».

Наставление высокого начальника еще раз утвердило цензоров в вере, что они идут правильным путем. С этого дня травля Мачабели стала чудовищной.

Изменить направление газеты, — рассуждал припертый к стене Вано Мачабели, — все равно, что покончить с собой. Грош мне будет цена, если «Дроэба» начнет плясать под дудку Луки Исарлова. Народ отвернется от газеты, перестанет ее читать. Нет, этого допустить нельзя!

И, движимый интересами газеты,

Мачабели, как это ему ни трудно, просит помоици у Ильи Чавчавадзе. Встреча состоялась на дому у Чавчавадзе. Беседа их была деловой и касалась только «Дроэба». О разногласиях по банковским делам ни Илья, ни Вано не проронили ни слова, будто этих разногласий и не существовало. Илья, понимая, какая угроза нависла над газетой, сразу же дал согласие взять на себя обязанности редактора. Было составлено обращение к цензурному комитету. Князь Мачабели оставляет по своей воле редакцию. Издатель Картвелишвили согласен на уход редактора «Дроэба». Господин И. Чавчавадзе никак не просит назначить его редактором единственной грузинской газеты. Издатель согласен.

Но не согласен был цензурный комитет.

— Мы не видим разницы между Мачабели и Чавчавадзе, — доложил Исарлов от имени цензоров Дундуку-Корсакову. — Положение ни на капельку не изменится. Они и в банке вместе работают и в газете будут заодно донимать нас. Нет и нет. Чавчавадзе и Мачабели два сапога пара.

Чавчавадзе не утвердили редактором «Дроэба». Вано, понимая, что цензоры только и ждут повода, чтобы обрушиться на газету, а может, и закрыть ее, уже с большей осторожностью выбирает статьи для печатания, еще глубже прячет в подтекст подлинную суть вопросов.

Цензоры тоже не дремлют. Закрыть газету из-за «опасных и вредных» статей по закону они не могут. Но ведь закон — что дышло, куда повернешься, туда и вышло. Поэтому Исарлов и его подручные ищут «взрывчатку» в статьях, на первый взгляд безобидных. И вскоре находят ее.

3 июня 1885 года на страницах «Дроэба» был опубликован фельетон. Автор фельетона вывел притеснителей народа и взяточников Ходжу и Молла. Острые стрелы попали в цель. Начальник Озургетского езда узнал в Ходже себя и, впав в ярость подал на газету в суд. Началось расследование. Чиновники потребовали от Мачабели открыть редакционную тайну — назвать фамилию автора. Но Вано наотрез отказался.

— Передайте Чкония, — писал он своему другу, — что ему нечего

бояться. Авторство фельетона я взял на себя.

Этот маленький фельетон <sup>был опубликован</sup> под пером цензоров, поспешивших донести в Петербург о «безобразном поведении Мачабели», в повод для закрытия газеты «Дроэба».

В конце лета Вано отправился в Кахетию по банковским делам. Он ехал со спокойной душой. Статьи, которые должны были пойти в следующих номерах, были им подготовлены, а маленькие корреспонденции и хронику взялся вести Давид Месхи. И именно в отсутствие редактора пришла из Петербурга телеграмма, официально уведомляющая о том, что по решению Министерства внутренних дел газета «Дроэба» закрывается. Давид Месхи поспешил сообщить эту печальную новость редактору.

— Гадина (так называл он Исарлова) все же добился своего, — повторял Мачабели, скимая кулаки.

По приезде в Тбилиси, Мачабели кинулся в цензурный комитет, потом к Яновскому, Корсакову, но везде получал один и тот же ответ:

— Мы тут ни при чем, это решение Петербурга.

Грузинский народ потерял заступника и сердечного друга, Вано Мачабели лишился своего любимого первенца — «Дроэба».

В эти дни Давид Месхи обрамил стенд газеты черной каймой.

— Что это значит! — кричал пристав с пеной у рта.

— Ничего, — спокойно отвечал ему Мачабели, — мы справляем траур по нашей газете. Или вам не известно, что «Дроэба» умерла.

— Умерла, — хрюкло захохотал пристав. — Нет, она не умерла, мы ее прикончили. Немедленно снимите черные ленты!

Черные ленты сняли, но траур по «Дроэба» продолжался еще долго. В течение нескольких месяцев на имя Мачабели приходили сочувственные письма и телеграммы.

«Глубоко огорчены известием о закрытии «Дроэба», — писали из Телави.

«Все здешнее общество возмущено и опечалено горестным известием о закрытии единственной грузинской газеты», — писали из Кутаиси.

«Принимаем участие в общей скорби», — писали из Батуми.

«Телеграф принес потрясающую

весь — закрыта наша единственная грузинская газета, — писали студенты Одесского университета. — Своей 20-летней честной службой на благо Родины газета «Дроэба» снискала такое уважение и любовь в сердцах всех грузин, что мы даже не можем представить себе, что потеряли ее. Мы, грузинские студенты, присоединяемся к скорби Вашей и всей Грузии и полны ненависти и презрения к тем, кто поставил себе целью наше унижение. Но пусть знают тираны, что чем сильнее они сжимают пальцы на нашем горле, тем больше мы будем сопротивляться, тем скорее сбросит с себя цепи наш народ. Пульс Грузии начал биться глубоко и сильно и его уже не смогут остановить указы или постановления деспотов. «Дроэба» имеет великие заслуги в деле возрождения нашей нации. Слава вам, поэты, литераторы, общественные деятели, принимавшие участие в «Дроэба», ибо в жестокой борьбе вы не отступали ни на шаг и вперед не отступите!»

А вот письмо из Петербурга.

«...Весь о закрытии «Дроэба» была для нас неожиданной, как гром среди ясного неба. Вашу газету, которая была в течение двадцати лет добрым паstryрем нашей сиротливой страны и общества, закрыли... «Дроэба» была единственным честным и искренним борцом за интересы и освобождение нашей страны. Мы вечно будем с благодарностью помнить ту службу, которую «Дроэба» служила нам, отдаленным от грузинской жизни людям... Насильственная смерть забрала у нас газету «Дроэба», но мы считаем недостойным всех нас терять надежды на будущее. С закрытием «Дроэба» не угаснут в нас мечты и дерзания. Мы верим в непоколебимость наших общественных деятелей».

«Где же правда? Везде царит беззаконие, — возмущался в письме к Мачабели его друг Валериан Гуния. — Сегодня запретили нашу «Дроэба». Легко сказать запретили! Мы еще перенесем боль. А каково тем, кто на чужбине отводит душу только чтением грузинской газеты? И была бы причина. Но я, кажется, рассуждаю как ребенок. Разве не об этом сказал Крылов: «У сильного всегда бессильный виноват». Эх, где ты, кинжал! Я бы погрузил тебя по

самую рукоять в сердце Исацкова!»

Вано Мачабели метался по городу, не находя себе места. Позже он сам вспоминал эти дни как «сплошной кошмарный сон», «великое несчастье», «неописуемые муки».

\* \* \*

За какую-то неделю, прошедшую со дня закрытия газеты, Вано очень похудел, стал мрачным и злым. Видя, как тяжело переживает Мачабели утрату, его друг Кола Павленишивили буквально насилино увез его в свою деревню Тквиави.

Вано чувствует себя с Кола свободно, непринужденно. Целыми днями они пропадают на поле, охотятся в лесу, давят вино. А в лунные ночи плывут на лодке по озеру. Вокруг тишина. Только скрип уключин стелется по воде. Воздух пронизан осенней зелостью, вдалеке торжественно покачивает горбами караван Кавказского хребта.

В Тквиави Вано отдохнул, успокоился, обрел душевный покой. Теперь ему можно вернуться в Тбилиси.

Однажды, разбирая старые бумаги, Вано накнулся на исписанный лист, который напомнил ему счастливые дни близости с Мако. «Вот розмарин, это для памятности: возьмите, дружок, и помните. А это анютины глазки: это, чтоб думать... Я бы хотела дать вам фиалок, но все они завяли...»

С улыбкой перечел он слова Офелии. Этот отрывок Вано перевел в ту незабываемую ночь. А потом... потом Сафарова вышла замуж за Абашидзе. Но брак оказался непрочным, и через несколько лет Мако и Вако разошлись. Мачабели с тех пор не встречался с Сафаровой, видел ее только на сцене. Недавно она играла с Ладо Месхишивили в «Короле Лире». В антракте кто-то сказал Вано, что уже идут репетиции «Гамлета» в переводе Пурцеладзе. Мачабели не поверил своим ушам. Неужели наши великие артисты Мако и Ладо могут довольствоваться этим косноязычным переводом. Ведь Пурцеладзе не знает английского, он переводит с плохих русских переводов.

Вано еще раз прочел монолог Офелии.

— Я должен, обязан перевести «Гамлета», — сказал он вслух.

В дверь кто-то постучался. Это был молодой актер Валериан Гундия. Он часто заглядывал к Вано «на минутку» и засиживался до полуночи.

— Вы пришли как нельзя кстати, — обрадовался его приходу Вано. — Я сейчас думал о переводе «Гамлета».

Гундия хитро улыбнулся. Он положил на стол свернутую трубочкой тетрадь и сел.

— Сыграть Гамлета нелегко, — размышлял Мачабели вслух. — В натуре у артиста должен быть огонь, чтобы и зрителю стало жарко от этого огня.

— Попробуй зажечь зрителя таким переводом, — сказал Гундия и, развернув тетрадь, прочел монолог Гамлета в переводе Пурцеладзе.

«Жизнь или смерть, вот над чем стоит призадуматься. Что более по-рядочно?» — он читал с выражением, и тем фальшивей звучали слова.

— Довольно, довольно, — сквозь смех прервал его Вано. — Мне очень хочется перевести «Гамлета», но боюсь.

— Чего боитесь?

— Эх, начнутся сплетни, пересуды, мол, незачем вторично переводить уже переведенную вещь. К тому же...

— Хотите знать правду, — не дал ему договорить Гундия. — Меня к вам прислали. Мы хотели отложить бенефис Месхишивили, чтобы он сыграл Гамлета в вашем переводе.

— Кто прислал?

— Во всяком случае, — уклонился от ответа Гундия, — если не успеете всю пьесу, то, может, хоть роль Офелии переведете.

Мачабели посмотрел на Гундия в упор, но ничего не сказал. Через два дня монологи Офелии уже были переведены.

После долгих колебаний, Вано отнес рукопись на дом Сафаровой. Мако, пораженная столь неожиданной встречей, смущилась, растерялась. Вано попросил актрису прочитать его перевод.

Сафарова читала, сидя в кресле.

Вано слушал, боясь шелохнуться. Где-то в глубине его души просыпалась прежняя страсть. Мако закончила чтение. Не помня себя, Вано под-

хватил ее на руки и осыпал горячими поцелуями.

— Ну что ты, Вано, не надо, — шептала она, теряя силы.

— Я люблю тебя, Мако, люблю и не уступлю больше никому. Ты будешь моей женой.

— Нет, это невозможно.

— Но почему, почему?

— Ты ведь знаешь наше общество.

— Так убежим подальше от всей этой мрази. Уедем в Россию.

— А как посмотрят на это твой брат?

— Мой брат будет согласен. Сегодня же ему напишу.

«Здравомыслящий человек не должен идти на поводу минутной страсти. Серьезные шаги в жизни надо делать осторожно и обдуманно», — писал из Петербурга младшему брату Вако Мачабели. Он категорически против женитьбы Вано на «соломенной вдове, да еще с ребенком». Если Вано свяжет свою судьбу с Сафаровой, то он навсегда потеряет брата. Что ж, выбирай.

На самом деле выбора у Вано не было. Мечты о счастье вновь сложили свои хрупкие крылья.

### Семилетняя война

День незаметно угас, и сразу стало темно. Увлеченный работой, Мачабели даже не заметил, что наступили сумерки. Вано очень не хотелось идти на званый обед к Диасамидзе, но, зная щепетильный характер князя и обидчивость его супруги, он все же решил «угробить вечер». Он зажег лампу, собрал разбросанные по столу книги и еще раз пробежал последнюю фразу перевода.

Чтоб первыми прибыть, мы по пятам  
За ними гнались. Но он ездок отменный.  
Его к тому же изморила любовь,  
И мы отстали. Миная хозяйка.  
Мы — ваши гости.

Это были слова Дункана из первого акта «Макбета». Переводить эту трагедию Шекспира Мачабели начал всего несколько дней назад и быстро нашел ключ к монологам героев. Сегодня ему работалось особенно легко и тем более не хотелось отрываться. Но ничего не поделаешь. Он твердо обещал Диасамидзе при-  
д



ти на обед и должен был сдержать слово. Вано торопливо оделся, не нужно пошарил по карманам и, словно убедившись в чем-то, вышел на улицу. За углом он увидел дремавшего на козлах кучера. Пообещав чаевые, Вано велел ему не жалеть лошадей. За Ванской церковью фазтон свернул направо и остановился у большого каменного здания. Морозные дни сменила оттепель, и на улицах стояла топкая грязь. Вано осторожно, чтобы не запачкать туфли, прошел тротуар и поднялся на второй этаж.

Общество было знакомым (Мачабели и Диасамидзе вращались в одном кругу), и Вано, раскланявшись, прошел через весь зал к своему другу и однофамильцу Мишо. Тот с ходу принялся рассказывать о вчерашней попойке в саду Муштаида. Но Вано не слушал. Он весь был поглощен девушкой, которая сидела у окна. Она с детской непосредственностью рассматривала каждого и, когда Вано перехватил ее взгляд, что-то шепнула своей соседке.

Мачабели еле заметно, только уголками губ, улыбнулся и отдал поклон. Девушка радостно вспыхнула. Вано для приличия перекинулся парой фраз с Мишо и вновь перевел на нее взгляд. Черные волосы, мечтательные карие глаза, прямой с чуть заметной горбинкой нос и мягкий, очень мягкий подбородок. Разлет бровей выдает непостоянство ее характера, — подумал Вано. Он не был знаком с этой девушкой, хотя некоторое время почти каждый день встречал ее, идя на работу. Он как-то незаметно для себя привык видеть ее в определенный час и на одном и том же месте, а если девушки не оказывалось, то озабоченно искал ее глазами. При первой встрече Вано поразила робкая, неуверенная походка девушки, словно она шла по тропинке над пропастью. Вскоре между ними завязалась странная дружба. Вано, завидев девушку, уже издали широко улыбался, она тоже смеялась, но только глазами. Карими бездонными глазами. И все же поздороваться никто из них не решался. Мачабели даже в голову не приходило завязать с ней более короткое знакомство. А сейчас, уловив в ее глазах знакомую улыбку, он вдруг потянулся к ней.

Когда хозяйка дома пригласила гостей к столу, Вано попросил разрешения у девушки сесть рядом с ней.

— Князь Иванэ Мачабели, — полууслышливо представился он.

— Княжна Анастасия Багратиони-Давиташвили, — еле сдерживая улыбку, ответила она. — А это мои сестры — Нино и Барbara.

С первого взгляда сходство между сестрами не бросилось Вано в глаза. Однако присмотревшись внимательней, он нашел в них много общего. И Барbara, и Анастасия, и Нино сразу же располагали к себе, казалось, в них был какой-то уют.

Вано был легок на юмор, и девушки звонко смеялись его рассказам. За столом царило оживление, гости были настроены благодушно. Казалось бы, хозяйке не из-за чего было нервничать. Но она нервничала, украдкой делала какие-то знаки Вано. Потеряв вконец надежду быть им понятой, она словно мимоходом наклонилась к его уху и горячо зашептала. Но Вано уловил лишь обрывки фраз — «неудобно... мы нарочно подстроили... полковник».

— Что за полковник? — громко переспросил он.

Хозяйка, как ошпаренная отпрянула от Вано, состроив на лице улыбку.

Если бы Вано на минуту оторвался от беседы и посмотрел на сидящего напротив него человека с суровыми, словно застывшими под клочистыми бровями глазами, то многое стало бы ему понятно. Но Вано был увлечен разговором с сестрами и его вовсе не трогало настроение полковника Арджеванидзе.

Кроме Вано Мачабели, все гости были предупреждены хозяином дома, что обед устраивается для знакомства княжны Анастасии Багратиони с полковником Арджеванидзе, и вели себя подобающе этой цели. Еще во время танцев они будто не нареком оставили Анастасию и полковника наедине, но, развлекаясь, все же краешком глаза следили за ними.

Поначалу разговор не клеился. Княжна задумчиво смотрела в окно, полковник не отрывал глаз от своих сапог. Он так растерялся, что не мог и слова произнести. Но дальше молчать становилось неприлично, и Арджеванидзе заговорил о... могу-

ществе царского трона. Девушка с трудом подавила зевоту. Полковник понял, что попал впросак, и поспешил переменить тему. Он не нашел ничего лучшего, как рассказать княжне солдатский анекдот. Кончив анекдот, он громко, раскатисто захохотал. Девушка с трудом выжала из себя улыбку. Арджеванидзе вовсе растерялся. На помочь к нему поспешил Диасамидзе. Он напомнил княжне, что она обещала ему танец. Полковник облегченно вздохнул. Он вышел на балкон покурить. «Нет, — думал Арджеванидзе, — голыми руками эту крепость не возьмешь. Нужна осада. Сяду-ка я за столом напротив Анастасии и буду обстреливать ее взглядами. Да, иногда надо вздыхать, девушки любят, когда мужчины вздыхают».

Но всему помешал Мачабели. Полковник смотрел на веселящуюся Анастасию и ничего не мог понять. Когда он рассказал ей анекдот, который одобрил сам генерал, девушка едва улыбнулась, а сейчас этот ветропрах Мачабели какими-то разговорчиками заставляет ее смеяться от всего сердца. И, оскорбленный до глубины души, Арджеванидзе грозно уставился в одну точку.

К счастью полковника обед подходил к концу. К тому же гости спешили на бал в дворянском клубе и понемногу стали расходиться. Кто домой переодеться, кто же прямо в клуб. Мачабели, к пущему негодованию полковника, вызывался сопровождать сестер Багратиони на бал.

Он провел с Тасо, — так называли домашние Анастасию, — вечер до глубокой ночи. Вано было приятно слышать от девушки, что она любит литературу, следит за борьбой отцов и детей и скорбит по «Дроэба». Тасо была знакома с Акакием Церетели и с благоговением относилась к его поэзии. Вано рассказал девушке, как тамарашенские крестьяне удивились, что Акакий оказался таким красивым и обходительным.

Уже занималось утро, когда Вано проводил сестер Багратиони домой. Испросив разрешение посетить их на этой неделе, он пешком пошел к себе.

Тасо долго не могла уснуть. Голова чуть кружилась, по телу разлилась приятная истома. Талия девушки еще хранила тепло руки Мачабели,

ли, когда он легко кружил Тасо в танце.

— Тасо, ты вышла бы замуж за Вано? — словно угадав ее мысли, спросила старшая сестра. Боясь выдать волнение, Тасо притворилась, что не слышала вопроса сестры.

— Тебе нравится Мачабели? — не отставала Нино.

Но Тасо не успела ответить. В дверь кто-то постучался.

— И кого это принесла нелегкая в столь ранний час, — возмутилась Нино, ища босыми ногами домашние туфли.

Вновь постучали уже громче.

— Кто там? Сейчас! — крикнула Барбара.

— Это я, Мачабели, — услышали сестры голос Вано.

— Что-нибудь случилось? — звонковалась Нино и выбежала в прихожую.

— Пожалуйста, это для Тасо, — просунул Мачабели в щель приоткрытой двери букет свежих цветов. — Извините.

Нино не успела ему ответить, как щелкнул замок и на лестнице застучали шаги. Она с веселой гримасой вернулась в спальню.

— Это тебе от Мачабели, — словно ничего в этом не видит странного, протянула цветы сестре.

Тасо прижала к груди влажный от росы букет. Что-то шепча, она перебирала цветы, вдыхала их аромат. Розы пахли весной и любовью. И вдруг меж стебельков она увидела аккуратно сложенный лист бумаги. Девушка нетерпеливо раскрыла записку и, вся просияв, тихо сказала:

— Он сделал мне предложение.

— Тасо, к тебе пришло счастье, — целуя ее, повторяли сестры.

Дальше все произошло быстро, помачабелевски. И через несколько дней Вано, держа в руке зажженную свечу, стоял рядом с Анастасией Багратиони в церкви святой Нины. Пока священник бубнит длинную молитву, мы познакомимся ближе с невестой и ее семьей.

Отец Анастасии — Александр Багратиони-Давиташвили был одним из крупных помещиков в Картли. Влиятельный и самоуверенный, он после женитьбы на сказочно богатой княжне Дарье Эристави еще больше

уверовал в свои силы и права. Александр жил на широкую ногу и, полностью доверив хозяйство преданному управляющему, наслаждался охотой, кутежами, весельем. Но когда пошли слухи об отмене крепостного права, Александра словно подменили: он стал бережливым и деловым. Это по его инициативе было составлено столь нашумевшее письмо к царю.

«В тот же день, когда крестьяне будут освобождены, наше благополучие рухнет. Нам уготовывается участь ходить по дворам и христирадствовать. Не будет у нас прислуги и крестьян, обрабатывающих наши виноградники, не будет пастухов у нашего скота и кормилиц у наших детей», — так начинается послание, которое подписали 73 крепостника.

Однако Александр Багратиони очень быстро убедился, что манифестами и письмами делу не поможешь, и решил действовать иначе. Теперь целью его жизни стали деньги.

Александр обрел нового бога и поклонялся ему как фанатик. Гонимый жаждой наживы, он ездил по городам и селам, продавал и перепрода-вал имения. Своим сыновьям он тоже старался привить любовь к деньгам.

«Смотри, Георгий, постараися создать себе имя и взять как можно больше от учебы, — писал он старшему сыну. — Стань инженером, чтобы зарабатывать много денег. Будешь инженером, и денег у тебя будет много... Прошу тебя, поднатужься, тогда будешь загребать деньги».

Надо сказать, что советы Александра сыновья не пропускали мимо ушей. Скарбницей, любовью к деньгами они, пожалуй, превосходили своего отца. Младший — Дато, угодил за стяжательство в героя фельтона, который был напечатан в «Иверии», а старший — Георгий прославился своими тяжбами с крестьянами.

Мать Анастасии — Дарья Эристави, была по женской линии внучкой царя Ираклия II. Ей претила мелочность мужа, его поклонение деньгам, и она ушла в себя. Единственное оправдание своей жизни Дарья видела в хорошем воспитании дочерей. В этом она проявила твердость характера. Дарья столько надоедала мужу, столько твердила ему об обучении девочек иностранному языку, что

Александр согласился «выбросить деньги на ветер». Именно матери обязана была Тасо хорошим знанием французского языка и любовью к грузинской литературе.

До девяти лет Тасо жила в деревне Пса, потом ее определили в Тбилисский институт благородных девиц.

«Тасо в детстве была такая невзрачная, — вспоминает близкий друг их семьи, — что мы шутя советовали ее матери: «Выбросьте ее, зачем вам такая замухрышка». Дарья серьезно отвечала нам: «Вот увидите, какая Тасо станет красивая. Она превзойдет всех остальных моих детей». Когда Тасо окончила институт, то по красоте и статности она не имела себе равных во всем Горийском уезде».

В церкви святой Нины венчание подходило к концу. Священник перекрестил жениха и невесту, дал знак дружкам и шаферам приготовить кольца.

Маленькая церковь была полна народу. Она не вмещала всех желающих присутствовать на бракосочетании, и многие толпились во дворе. Молитву священника часто сменяло пение церковного хора. Воздух был пропитан запахом ладана. В узкое зарешеченное окно пробивалась свет, и желтые квадраты ложились на каменный пол, удлиняясь, взираясь по стене.

Вано и его невеста заметно волновались. Тасо еле держалась на ногах. Вано поминутно оглядывался на дверь. Недруги Мачабели распустили слух, будто Мако Сафарова обещала прийти в церковь.

Священник кончил молитву, обменял кольца. Вано послушно растопырил пальцы, но рука дрожала, и кольцо соскользнуло на пол. Звена, оно закатилось под алтарь. Мачабели не верил в дурные приметы, но все же что-то больно кольнуло в груди. На Тасо не было лица. Священник поднес к губам невесты потир с церковным вином. Тасо пила прохладную жидкость и чувствовала, как призывают силы. Жениху осталось всего несколько капель вина на донышке. Священник взял Вано и Тасо за руки, трижды обвел кругом по церкви и объявил их «пред богом и людьми мужем и женой».

А в толпе все перешептывались:  
«Ох, не видать им счастья».

\* \* \*

«Только что узнал о твоем бракосочетании Акт художественный с божественным соединены Желаю художественно закончить бытие сего мира с божественною твоюю Котэ Месхи».

«Дорогой Вано От всей души и сердца поздравляю счастьем Думаю лучшего ты и во сне не видел Восхищен быстротой решения Именно пришел увидел победил», — читает Вано вслух телеграммы друзей. Тасо сидит рядом и, положив ему на плечо голову, наблюдает, как танцует в камине огонь. Мыслями она перенеслась в будущее. Тасо сама будет вести дом, растить детей. Она постараётся создать мужу условия для работы, сделать жизнь его радостной. Только одного она не разрешит Вано — баловать детей. Конечно, дети не должны знать нужду или быть лишены ласки, но и потакать их капризам Тасо не станет. Она вырастит их настоящими людьми.

На деньги из приданого Тасо купит маленький домик. Она обставит комнаты по-современному, чтобы друзья тянулись к ним, находили в гостях у Мачабели тихую радость. Вано и Тасо будут жить в счастье.

Тасо еще теснее прижимается к супругу, целует его в шею.

— Ты, наверно, соскучился по работе, — говорит она виновато.

— Ничего, наверстаю. Знаешь, Тасо, я начал «Макбета» и часто ловлю себя на том, что в уме все продолжаю переводить его.

— Лучше возьмись за «Ромео и Джульетту». Тебе не кажется, что Шекспир списал с нашего знакомства и любви целые сцены?

Вано улыбается. И вдруг по лицу его пробежала тень.

«Мако тоже просила меня перевести «Ромео и Джульетту», — подумал Вано и, словно испугавшись этих воспоминаний, стал жарко целовать жену.

Домик они купили на Ольгинской улице, рядом с остановкой конки. Светлые солнечные комнатки, длинный узкий балкон на улицу, аккуратный садик в окружении молодых елей. В ясную погоду, особенно ран-

ним утром, можно видеть снежные вершины Кавказского хребта, серебристой полосой отделяющие небо от земли.

Новоселье откладывают, ибо не сегодня-завтра семья Мачабели пополнится новым членом.

1 декабря 1891 года, в день рождения Тасо, Иванэ Мачабели стал отцом.

\* \* \*

События в Земельном банке разворачивались стремительно. Наступил момент, когда подспудная борьба Ильи Чавчавадзе и Вано Мачабели должна была стать открытой. И это произошло на собрании основателей банка. Семилетняя война, как потом окрестили вражду Чавчавадзе и Мачабели, началась.

Собрание было шумным, напряженным. Оппозиция, которая состоялась только несколько дней назад, резко выступила против Ильи Чавчавадзе.

Вано сидит молча. Губы нервно сжаты, брови сдвинуты, отчего на лбу собрались глубокие складки. А зал гудит, как потревоженный улей. Оратора никто не слушает, все кричат с мест. Председатель собрания ожесточенно трясет колокольчик, но его звон тонет в общем гуле. Вано, опустив голову, выходит из зала. В вестибюле он невольно становится свидетелем беседы, которая переворачивает все у него внутри. Некий господин объясняет юноше: «Оппозиция — это значит, что если ты скажешь «да», то я непременно должен ответить «нет», а если ты скажешь «нет», я обязан ответить «да».

У Вано на щеках выступает румянец, под кожей лица ходят желваки. Не помня себя, он бегом возвращается в зал и просит слова. Председатель не дает разрешения — прения, мол, закрыты. Мачабели, вопреки всем правилам, требует с места:

— Я должен выступить. Если дадите возможность, я буду говорить полчаса, если откажете, то я уложусь и в полминуты.

Собрание требует сделать для Мачабели исключение, и председатель сдается.

— Моя речь — исповедь перед вами, — обращается Вано к присутствующим. — У вас было время убедиться, что не все обстоит благопо-

лучно в банковских делах. Вы были встревожены моими с Ильей Чавчавадзе разногласиями, которые мы вынесли на общественный суд. А некоторые даже решили свалить все на обиды, якобы причиненные мне даже не знаю кем. Нет, господа, никакая обида не лежит у меня на сердце, иначе я не стал бы скрытничать, таить ее. Даю вам слово, что только деловые соображения заставили меня выступить против Чавчавадзе... Многие обвиняют меня, будто я вношу раскол в сплоченные ряды правления банка, предаю товарищей. Я исповедуюсь перед вами и хочу быть искренним до конца.

Все внимательно слушают искреннюю речь Вано. Председатель иногда поглядывает на часы, берется за колокольчик, но тут же, передумав, кладет его обратно на стол. Рядом с ним сидит Илья Чавчавадзе. Сжав ладонями виски, он сосредоточенно думает о чем-то. Может, Илья вспоминает первую встречу с юным студентом, их совместную работу над «Королем Лиром». С тех пор прошло 20 лет, и многое, очень многое изменилось.

— ...Никогда еще не переносил я столько мук, — продолжает Мачабели, — сколько здесь, во время торгов. При каждой сделке у меня сердце обливалось кровью. Но чем мог я помочь дворянину, попавшему в безвыходное положение. «Долг надо погасить вовремя, иначе продадим залог», — твердили директора, а я не в силах был созерцать этот губительный формализм.

Вчера мы в один голос славословили Чавчавадзе. Разделяя общее мнение о Чавчавадзе, как прекрасном поэте и литераторе, я все же не могу назвать его сердобольным...

По залу пробегает шумок. Председатель делает оратору замечание, но Чавчавадзе жестом останавливает его, мол, дайте ему говорить.

— ...Я уже говорил, какова наша финансовая политика, — еще больше распаляется Вано, — если разумно вести дела и в то же время проявлять сочувствие к разорившимся дворянам, то это пойдет только на пользу нашему банку. И кто сможет быть таким директором, перед тем я преклоню колени и сниму шапку... Меня часто ругают. А за что? Да только за то, что я выступаю против равнодушия и черствости некоторых наших авторитетных деятелей...

Приношу вам благодарность <sup>за</sup> терпение, с которым вы слушали мою <sup>запись</sup> сбивчивую речь. Спасибо за доверие, что восемь лет подряд выбирали меня директором банка. К сожалению, я вынужден уступить свое место другому. Я очень устал.

Вано неспеша прошел к своему креслу. Сослуживцы долго уговаривали его «не делать глупости, не уходить из банка», но Мачабели отказался наотрез. Не дождавшись конца собрания, он вышел из зала.

После восьми лет самоотверженного труда Мачабели покинул банк — эта новость с быстрой молнией облетела город.

— Из банка убрали самого активного работника, — возмущались одни.

— Человек, который выправил финансовые дела банка, отстранен от директорства, — говорили другие.

— Подумать только, к приходу Вано банк терпел убыток в 500 000 рублей, а сейчас эта сумма уменьшилась до 500 рублей. Конечно, Чавчавадзе уже не нужен Вано, — недоводили сторонники Мачабели.

Оппозиция, возлагавшая на Вано столько надежд, была застигнута врасплох его неожиданным решением.

«Вы бежите с поля битвы».

«Вы не имеете права уходить сейчас из банка».

«На кого оставляете нас, ваших друзей и соратников?»

Такими упреками и телеграммами прямо-таки забросали Вано Мачабели. И он не устоял перед соблазном вновь ринуться в самую гущу борьбы.

«Ты, наверно, догадался по газетным отчетам, какой переполох произошел в банке, — писал Вано в Петербург Акакию Церетели. — Илья Чавчавадзе и его «достойный товарищ» (так называет себя Тархнишвили) навалились на меня и таки повалили. Мне ничего не оставалось, как поблагодарить общество за доверие и уйти из банка... Сейчас я думаю опубликовать ряд статей и сделать явным то, что тайно делается в банке и обслуживающей его прессе. Думаю, на этот раз осилить меня будет нелегко, и дела у Ильи Чавчавадзе пойдут

так, что он воскликнет подобно Пирру: «Еще одна такая победа, и я останусь без войска!» Мне будет очень приятно, если ты будешь следить по газетам за нашей полемикой».

Через несколько дней после окончания собрания и выбора новых директоров, Вано Мачабели послал в газету «Иверия», редактируемую Ильей Чавчавадзе, письмо: «Я с большим нетерпением ждал окончания отчета о прениях в банке. Ждал потому, что имею желание восстановить справедливость и исправить кающихся меня ошибочные сведения. Если Вы пожелаете напечатать мотивированный и подкрепленный фактами ответ, то мне понадобится на страницах газеты столько же места, сколько занял ваш отчет. Я с удовольствием возьмусь за этот нелегкий труд, но только с условием: 1. опубликуйте все, что касается банка и моего ухода без сокращений; 2. дайте мне возможность отвечать Вам через Вашу же газету и не прекращайте полемики итоговой статьей, написанной Вами».

Редакция «Иверии» не согласилась со вторым пунктом ультимативного письма И. Мачабели и вскоре его статьи появились на страницах «Нового обозрения».

Вернувшись в Тбилиси, Вано Мачабели начинает работать председателем сиротского суда. Место не ахти какое, но Вано доволен — «сам себе хозяин и могу распоряжаться своим временем, как вздумается». Он с головой погружается в работу над переводом, и вскоре «Макбет» готов к печати.

А оппозиция тем временем росла, набирала силы. Ее ядро — Николоз Орбелиани, Мишо Мачабели, Кола Павленишивили, Гиго Габашвили все чаще собирались на дому у Вано и до полуночи спорили, обсуждали план действий, готовились к наступлению.

Для Вано Мачабели борьба носила принципиальный, продиктованный интересами дела, характер. К сожалению, этого нельзя сказать о большинстве окружавших его людей: они сумели задачи оппозиции до сведения личных счетов и извлечения собственной выгоды. Мачабели же, уверенный в правоте своих взглядов, не замечал узости интересов своих «однополчан».

Вскоре оппозиция получила пополнение — к ней примкнула группа «Женщины — мученицы общественных интересов». Участие женщин придало борьбе налет романтизма. Одной из руководительниц этой группы Вано Мачабели писал: «Очень благодарен тебе, что ни при каких обстоятельствах ты не забываешь наших общественных дел. Ты бы годилась в Жанны д'Арк — так ты умеешь фанатизироваться и фанатизировать других».

День столкновения надвигается. Холодная война обостряется, успехи сменяются поражениями, однако схватки носят эпизодический, разведывательный характер.

Силы почти равные, но борьба неравная — у оппозиции нет такого действенного оружия, как печатный орган.

\* \* \*

В то лето по всей Грузии свирепствовала холера. Свое страшное шествие она начала с Кахетии. Опустошительными набегами холера напоминала крестьянам времена монгольского ига. Набожные темные крестьяне полностью доверились знахарям, которые множились на селе, как поганки после дождя. Холера собирала обильный урожай. Стоило крестьянам заслышиать издалека ее торжествующий смех, как вся деревня снималась с места; и кто на арбах, а кто и пешком бежали люди без оглядки, куда глаза глядят. Но проклятая болезнь подстерегала их всюду.

По возвращении из Петербурга Васо Мачабели, старший брат Вано, устроился в Тбилиси и, к радости близких, женился на девушке из хорошей семьи. В том году, когда по Грузии гуляла холера, жена Васо с тремя детьми отдыхала в Тамарашени. Вскоре болезнь забрела и к ним в деревню. Страх погнал крестьян в горы. Собрав впопыхах свой жалкий скарб, они целыми семьями покидали деревню, оставляя больных на волю божью. Через две недели все, кто только не успел или не захотел уйти из Тамарашени, страдали злым недугом. А помочь больным, облегчить их боль было некому. Ни врача, ни лекарств. И только Нино Мачабели, жена Васо, вела непосильную борьбу

с холерой. Она бегала от одного дома к другому, старалась помочь крестьянам в беде. Ни уговоры родственников, ни опасность заразиться не могли остановить сердобольную женщину, которая рисковала своей жизнью во имя спасения односельчан.

Случилось то, что и надо было ожидать. Нино заболела холерой и угасла за несколько часов. Как ни торопился Вако в Тамарашени, он приехал только на похороны любимой Нино.

О несчастье в семье брата Вано узнал с большим опозданием. Тем летом он с Тасо и ребенком гостили в Сачхере у свояка — Бежана Церетели. К Бежану съехались и другие родственники из разных концов страны. А по соседству жил Акакий Церетели, который часто навещал друзей.

Нередко мужчины совершали конные прогулки, и Вано Мачабели неустанно восторгался имеретинским пейзажем.

— Потрясающе, потрясающе, — повторял он вслух и тут же, искоса взглянув на Акакия, добавил: — Ничем не уступит красотам Картли.

Акакий смеялся от души. «Вано не может простить мне шутку о Картли, когда я сравнил его родину с Имеретией. Но я еще посмотрю на него, когда мы отправимся в глубь страны», — заранее торжествовал Церетели, прощая другу «месть».

Как-то Бежан предложил гостям съездить к храму Тамар, который до недавних времен был неприступным. Лишь несколько лет назад некий рабинец выдолбил на отвесной скале, увенчанной этим храмом, ступеньки и достиг ее гребня. По преданию, в той церкви покоится в золотом гробу царица Тамар, а в ногах и головах неугасимо горят восковые свечи. Подзадоренные любопытством, Вано, Бежан и Георгий Багратиони гнали коней во весь дух, чтобы за светло достигнуть горы и осмотреть эту овеянную легендами последнюю обитель Тамар. Но вскоре им пришлось придержать горячих коней: дорога сменилась узкой тропинкой, вьющейся по самой кромке дремучего леса. А справа громоздились косматые горы, подпирая могучими плечами небо.

«Было уже за полдень, когда мы

достигли Квагатехила<sup>1</sup>, откуда на шему взору открылась такая картина, что мы добровольно стали пленниками этих мест, — пишет Вано Мачабели. — Дорога, идущая от верхней Имеретии к Раче, вдруг втыкается в узкий просвет между двумя громадными скалами.

Высокие, поросшие низкорослыми кустарниками, они обрамляют пейзаж и издалека кажется, что это чудо-картина, заключенная в раму. Вокруг разбросаны, как бог на душу положил, горы, скалы, холмы.

Мне рисовалось, как здесь развлекались дэвы: швыряли друг в друга горы, а потом забыли поставить их на место. А может, природа играла в детскую игру «замри!»?

Где-то далеко-далеко, на самом низу бежит, извиваясь, Риони — белая, слепящая глаз полоска. Она соединяет, будто пунктиром, Мамионский перевал с Кутаиси.

Горы толпятся, налезают друг на друга, а человек, где только может, лепит к их склонам малисенькие домишкы».

Вано стоял, как вкопанный. В это мгновение он так полно слился с вселенной, что позабыл обо всем на свете.

Вскоре они подошли к заветной скале.

«Чья десница сложила храм Тамар, чьи руки сотворили на этой отвесной скале чудо, — пишет Мачабели. — На высоте саженей в пятнадцать от основания в скале сделана крохотная площадка, на которой еле умещается церковь с ветхой крышей. Ворота у входа еле держатся на петлях, но заложены огромным замком. В стене зияет четырехугольное оконце.

Бровень с церковью, немного правее, выдолблена пещера, и к ней пробирается вертлявая тропа. Отсюда до храма уже близко, но карабкаться по скользкому камню не так легко. На каждом шагу подстерегает тебя опасность сорваться вниз и тогда...

Цепляясь за кусты, обдираешь пальцы о камни, отвоевываешь у высоты каждый сантиметр, а храм не приближается. Мы так и не добрались до него. Уже вечерело, и мы засторопились в обратный путь».

<sup>1</sup> Квагатехила — буквально, расколотый камень.

В Сачхере Вано ждало письмо брата.

«Мой горячо любимый Вано! Как только я узнал о холере в Тамарашени, тут же помчался домой. Не мешкая, мы собрали из местных жителей, которые не успели покинуть село, санитарную комиссию. Кроме того, послали телеграмму губернатору с просьбой прислать врача и лекарство. Ты даже не представляешь себе, в каком жалком положении находятся наши села — никакой медицинской помощи. Бедная Нино, она одна мужественно боролась с эпидемией и погибла. Сердце мое разрывается на части и не может смириться с тем, что Нино покинула нас».

\* \* \*

На очередном собрании основателей Земельного банка Мачабели вновь поставил свою урну. И прошел в директора большинством голосов. Сейчас борьба с противниками достигла такого накала, что о примирении никто и заикнуться не решался. Отношения Ильи и Вано настолько испортились, что бывшие друзья перестали даже кланяться. Словом, служба стала не службой, а адом. Так продолжаться долго не могло.

Вано все отчетливей видит, что ряды оппозиции, за небольшим исключением, состоят не из преданных делу народа борцов, а из ловкачей и личных врагов Чавчавадзе. Он понимает, что многие пошли за ним из корыстных побуждений, а до блага народа им и дела мало. Но от этого страдают общественные интересы; терпит урон дело жизни.

Сомнения Вано растут с каждым днем, с каждым новым совещанием оппозиции. Он всерьез задумывается над тем, не совершил ли ошибки, вернувшись в банк. Может, в интересах дела лучше оставить общественную борьбу, заняться литературой и служить народу первом. Да, так будет лучше. В этом решении укрепляет его и письмо близкого друга Кола Павленишвили.

«...Увлеченные борьбой, мы забыли о делах общественных, — откровенно делится тот с Вано. — Правда, у Ильи крутой нрав, но ты должен уступить. Помимо всего, он гордится тебе в отцы, и не будет смертельного греха, если ты уступишь

старшему. Пусть время будет вам судьей. Вот мой совет: оставь банк. Не осуди меня, дорогой Вано, за этот горький совет».

Мачабели несколько раз перечитывает письмо. Он согласен с другом — борьба принимает вредный, наносящий ущерб общему делу характер. Но так долго не может продолжаться, когда-нибудь ведь должен прийти конец мытарствам Вано. Постоянная перепалка с Ильей издергала его, лишила покоя и сна. Он чувствует себя лишним в банке. И Вано все больше склоняется к мысли, что для блага общего дела он должен оставить банк. Но как посмотрят на это его товарищи по партии, как воспримут этот шаг друзья и родные? Вано мучительно ищет выхода из сложившейся обстановки, колеблется, десять раз на дню меняет решения. Он прощупывает почву на совещаниях членов оппозиции и с горечью убеждается, что они даже в мыслях не допускают такого исхода.

Он советуется с женой, и она шлет ему взволнованное письмо.

«Вано, родной, зная твою вспыльчивость, многие хотят воспользоваться ею и вывести тебя из себя. Но ты не поддавайся, держи себя в руках. Они сделают все, чтобы получить от тебя сюрприз, а ты слушай голос разума — не оставляй банк. Если ты в гневе сделаешь этот неверный шаг, то, во-первых, испортишь себе дело, а, во-вторых, навредишь делу народа. Ты — единственный человек, кто служит верой и правдой банку. Остальные все там никчемные люди, они лишены даже крохи совести. Это ты видишь сам, не мне учить тебя. Вано, моя жизнь, не распускай нервы, возьми себя в руки...»

И Вано, скрепя сердце, соглашается с доводами близких ему людей, отмахивается от соблазна заняться только и только переводами.

«Моя жизнь, Тасо, — пишет он жене, — я тебе просто удивляюсь. Неужели ты всерьез поверила, что я ухожу из банка. Я не ребенок и не сделаю опрометчивого шага».

Одно дело писать, убеждать себя и других, но совсем другое дело отважиться на решение: оставаться в банке и продолжать изнурительную борьбу или бежать, бежать, куда глаза глядят.

Именно об этом думает Мачабели бессонными ночами. Вовлеченный в борьбу с противниками, он куда меньше времени уделяет общественным делам. Театр Вано забросил, заседания Общества по распространению грамотности не посещает, переводы отложил в долгий ящик, да и вообще как-то отвлекся от нужд народа, перестал ей помочь. Поймав себя на этой мысли, Вано начинает лихорадочно перебирать в памяти другие дела, которым он посвятил эти годы. Да, сделано не мало. Вано вел активную переписку с Григорием Вольским об открытии в Батуми грузинских училищ; по его предложению банк выделил сумму в помощь грузинским студентам, слушающим лекции в разных городах Российской Империи... Но куда больше можно было сделать, не погрязни он в банковских стычках.

Голос разума требует от Мачабели жертвы во имя общего блага, настаивает на уходе из банка. Но вокруг раздаются другие голоса: голоса «друзей», голоса членов оппозиции, голос жены. Они заклинают Вано, настаивают, просят не оставлять «однополчан» в минуты испытания, не покидать их в беде.

Вано бросается из одной крайности в другую. Когда в нем одерживает верх голос разума, он с радостью отбрасывает другие голоса. Когда же побеждают призывы друзей по оппозиции, Вано с горечью загоняет голос разума куда-то вглубь, подальше. Он мечется, ищет выхода и не находит.

Порой воспоминания о мирной сельской жизни в кругу семьи возвращают покой его душе. («Когда я спрашиваю нашего Никушку, где твой отец, — пишет Тасо, — он говорит: «Далеко, далеко» и чтобы показать, как ты далеко, растягивает слова по слогам. И такой он потешный, просто не могу описать. Он часто вспоминает тебя и, бегая по комнатам, кричит: Вано, Вано!»). Мачабели уносится в мечтах в родную деревню, явственно слышит зов сынишки: «Вано, Вано!»

Но чаще в ушах его раздается другой голос, повелительный и настойчивый. Вано не знает, на чей призыв откликнуться, к кому прислушаться. Во всей этой суете он ощущает одиночество, бесприютность и в

минуту слабости пишет жене: «Приезжай, приезжай скорее, мне так осточертело быть одному!» Но Тасо на последнем месяце беременности, она не решается на столь изнурительную поездку.

Мачабели по-прежнему один со своими горестями и раздумьями.

Обеспокоенные длительной и жестокой борьбой между партиями, прогрессивные деятели решают помирить Чавчавадзе и Мачабели и положить конец ненужным распрям. Посредником вызвался быть писатель Нико Ломоури. Как-то, прия домой к Вано, он начал без всяких обиняков:

— За что бог лишил вас рассудка. Или вы ослепли, не видите, что своими бесконечными спорами наносите вред общим интересам?!

Мачабели молчит. Он и сам недоумевает, какая злая сила толкнула его на выступление против Чавчавадзе.

— Дважды я приглашал его на медиаторский суд, — сокрущенно говорит Вано, — хотел, чтобы объективные и уважаемые люди рассудили нас и тем самым прекратили затянувшийся спор, который уже изрядно надоел и сослуживцам и читателям. Но Илья оба раза отклонил мое предложение.

Нико Ломоури обещает поговорить с Чавчавадзе и просит Вано быть створчивее, уступить кое в чем старшему.

Через несколько дней Ломоури приносит Мачабели ободряющие новости. Илья Чавчавадзе согласен, чтобы специальная комиссия разобралась в их споре, выяснила причины разногласий. Только он хотел бы обсудить состав и количество членов комиссии на общественном собрании банка. Вано охотно соглашается вынести этот вопрос на суд банковских чиновников.

В мае 1894 года состоялось очередное собрание членов дворянского Земельного банка.

Как писали газеты, «по желанию дворянина Ильи Чавчавадзе и при согласии дворянина Иванэ Мачабели назначается специальная комиссия. Каждая из сторон дает торжественное обещание отречься от всякой общественной деятельности в Грузии, если комиссия признает его виновным. Это условие, что и говорить, тяжело и опасно. Но раз уж

противники пожелали так, то не в наших силах им помешать. Борьба обострялась, принимала угрожающий для всего общества характер и лучше одним ударом разрезать все узлы, чем доводить ее до логического конца...».

Действительно, условия чудовищны. Либо Чавчавадзе, либо Мачабели должен навсегда отстраниться от всякого общественного дела. Но это немыслимо, просто — бесчеловечно! Разве можно отстранить от жизни Грузии великого Илью, с именем которого связаны все лучшие начинания в нашей стране с 60-ых годов XIX столетия. Илью, который вот уже 35 лет стоит во главе культурного и экономического прогресса нации?

А Иванэ Мачабели? Неужели должен быть отлучен, изгнан молодой, энергичный, высококультурный человек, который видит цель своей жизни в просвещении народа, улучшении положения трудящихся?

Да, по условию один из них будет похоронен заживо!

В зале совещания — тишина. Илья, низко опустив голову, ерошит рукой волосы. Вано, белый, как полотно, нервно покусывает губы.

— Комиссия назначается из трех человек, — провозглашает председатель, — она должна быть не медиатором, а судьей: сказать «да» или «нет» и этим решить судьбу обоих противников.

Нико Николадзе зачитывает список членов суда — Симон Георгевич Церетели, Николоз Давидович Зубалашвили и Иван Давидович Утнелишвили.

Илья Чавчавадзе согласен с таким составом. Иванэ Мачабели — против. Он просит выбрать комиссию из семи человек: трое от каждой стороны и председатель. Подымается шум, люди кричат с мест, кто поддерживает Вано, кто резко возражает ему. Ораторы сменяют друг друга, требуют, предлагают, просят. Спор затягивается до ночи, и председательствующий переносит окончание прений на следующий день.

Вечером второго дня — та же картина. Открывает прения Кола Орбелиани. Илья молчит, погруженный в думы. Вано держится спокойнее, чем вчера, только мелкая дрожь в руках выдает его волнение. Он смотрит на

оратора пустым взглядом, а издали кажется, будто ловит ~~каждое~~ <sup>запечатленное</sup> слово.

А прениям не видно конца. Поздно ночью приступают к обсуждению трех кандидатур. Мачабели, словно очнувшись от глубокого сна, вскакивает с места:

— Я не могу доверяться этим людям, — говорит он раздраженно. — Ведь и вчера я говорил...

Но тут его грубо обрывает председатель:

— Вы идете на попятную и не хотите признаваться в своей слабости. Хватит. Собрание закрыто.

Все вскакивают с мест. Поднимается невообразимый шум. Люди кричат, топают ногами, смеются, возмущаются, ликуют.

И вдруг раздается властный женский голос. Все оборачиваются в сторону ложи, где сидит почтенная особа в белом платье. Это княгиня Мариам Орбелиани. Подняв правую руку, она торжественно произносит:

— С сегодняшнего дня я выхожу из школьного комитета. Считаю ниже своего достоинства работать вместе с Иванэ Мачабели.

Вано горько усмехается. Он проталкивается сквозь толпу злорадствующих интриганов, не слыша пронзительного свиста и шиканья. Члены оппозиции догоняют Вано в коридоре, уговаривают выступить с разъяснением своей позиции, но он отмахивается от них, как от назойливых мух.

Вопрос о комиссии решено было отложить. До «гражданской смерти» Чавчавадзе или Мачабели дело не дошло.

На первом же после банковского «скандала» совещании школьного комитета Мачабели заявил о своем уходе.

— Пусть княгиня Орбелиани не волнуется, честь ее не будет запятнана моим участием в комитете. Я и сам брезгаю ее обществом.

И он решительно хлопнул дверью. В тот вечер Мачабели долго не возвращался домой. Терзаемый сомнениями, он ходил и ходил по городу. «Правильно ли я поступил, — в сотый раз задавал себе вопрос Вано и в сотый раз отвечал: — Нет, я не имел права поддаваться глупой мести, я должен был оставаться в комитете. Он приносил и может принести много

добра народу, я был там нужен, полезен».

Мачабели записал в дневнике:

«Вано Мачабели сделал ошибку, уйдя из школьного комитета из-за Мариам Орбелиани».

\* \* \*

Мачабели замкнулся, стал нелюдимым. Он все чаще сидит дома, переоценивает многое из своей жизни, зорче всматривается в себя. Сейчас он уже не может с легким сердцем идти на новые осложнения с Чавчавадзе. Вано опостылела эта борьба, он ищет уединения, спокойной гавани.

Кругом копошатся мелкие людишки, строят козни, требуют выступлений. Оппозиция действует, бунтует, а Мачабели все яснее понимает, что они свернули с правильного пути, забыли о народе. Он ловит себя на мысли, что стал чужим не только партии, но и самому себе.

Каждое утро Вано получает несколько писем от членов оппозиции, удивительно похожих одно на другое.

Вано уже не читает этих писем, заранее зная их содержание. Ему надоело, до тошноты надоело слышать клятвы о верности и дружбе. Ведь кто-то, а он знает, из каких побуждений толкают его на распри с Чавчавадзе. Нет, Вано не поддается уговорам. Хватит с него. Завтра же он честно и откровенно заявит членам оппозиции, что порывает с ними, прекращает борьбу. Незачем ему оставаться и в Дворянском банке, пусть себе делают, что им благородно рассудится. Вано отойдет от всех общественных дел, займется переводами, литературой.

Однако побуждению Вано не дано было осуществиться. На другой день, 4 марта 1895 года, в банк нарянула ревизия из Петербурга. Прорывка Дворянского Земельного банка длилась около двух месяцев, петербургские чиновники основательно изучали деятельность и финансовые дела банка.

Оппозиционеры развили бурную деятельность. Они призвали членов своей партии «действовать решительно, атаковать членов ревизии, склонить их на свою сторону».

Бесноватый Кола Орбелиани по-

требовал от Вано рассказать все ревизии, добиться ее расположения.

«Не выпускайте из рук главного ревизора», — кричал он до хрипоты.

Мачабели, еле сдерживаясь, чтобы не наброситься на него с кулаками, выставил дотошного «друга» за дверь.

Желая оградить себя от лишних разговоров и сплетен, Вано в первый же день заявил главному ревизору:

«Вести беседы о делах банка за стенами банка я не хочу. Мне скрывать нечего, и если возникнет надобность, доложу обо всем в письменной форме».

Главный ревизор Евстафий Евстафьевич Добецкий, поляк по происхождению, оказался на редкость порядочным и сердечным человеком. Он был очарован Грузией, ее природой, обычаями, народом и в глубине души симпатизировал стремлениям наших общественных деятелей сохранить древнюю культуру. Проницательный и умный, Добецкий почувствовал большое уважение к Илье Чавчавадзе и Иванэ Мачабели, увидел в них беззаветных борцов за расцвет нации. Он сразу же понял, что для общества вражда Чавчавадзе и Мачабели, разжигаемая интриганами и малодушными людьми, какой бы принципиальной она ни была, пагубна. Донецкий поступил благородно: он отложил вынесение официального решения и в дружеских беседах с Чавчавадзе и Мачабели попытался наладить их отношения.

— Фактически ваши стремления мало чем отличаются, — говорил он Мачабели, посетив его на дому. — Оба вы стараетесь через банк помочь народу. А частности, которые так усердно раздуваются бесчестными людьми, не должны заводить вас так далеко. Вы знаете, что окружены со всех сторон врагами, и если будете досаждать друг другу из-за всяких мелочей, то от этого пострадает только ваше общее дело. У вас только один выход — помириться.

Присутствующий при этой беседе Нико Ломоури поддержал Добецкого.

— Я уже беседовал с Ильей, он согласен, — сказал он.

— А я тем более, — не скрывая радости, сказал Вано.

— Значит, дело уложено, — облегченно вздохнул Добецкий.

\* \* \*

Вано Мачабели любил повторять французскую пословицу: «Между устами и чашей всегда найдется место для несчастья». На этот раз она оказалась применимой и к нему самому.

Пронюхав о переговорах Добецкого, интриганы обоих лагерей пустились во все тяжкие с целью сорвать примирение Чавчавадзе и Мачабели. Они распустили гнусные слухи, якобы по тайному доносу Мачабели приехала ревизия.

— Как, Чавчавадзе согласен мириться с доносчиком, который оболгал его, оклеветал? — с напускным возмущением пожимали плечами мужчины.

— Пусть отсохнет у Мачабели рука, которой он писал на Чавчавадзе в Петербург, — кудахтали женщины.

Эти разговоры дошли и до ушей Мачабели. Но Вано уже привык к подобным провокациям и хладнокровно записывает в дневнике: «Кто-то распространяет слухи, будто я напечатал письмами в Петербург ревизию. Хоть бы и так, ведь каждый имеет право высказать свое мнение. Однако это сплошная выдумка. Мне думается, что ревизию прислали после того, как в кредитной канцелярии убедились в никчемности Авалишвили (его выгнали оттуда). Они усомнились в наших делах и решили их проверить».

Так или иначе, а сплетня сыграла свою роль — мир между Чавчавадзе и Мачабели не был заключен.

День собрания основателей банка был уже не за горами. Вано Мачабели созвал у себя на дому совещание членов оппозиции и поделился с ними своими соображениями.

— На сегодняшний день самое слабое звено в цепи деятельности банка — это распределение доходов, — начал он спокойным голосом уверенного в своей правоте человека, — я думаю, что мы должны увеличить вдвое сумму, отпускаемую на нужды просвещения. Надо расширить и сеть учреждений этого характера. До сих пор банк уделял все свое внимание только гимназиям и хозяйственным школам. Что же получилось: для детей крестьян двери наших школ оказались закрытыми.

Мне могут возразить, мол, и в гимназиях учатся крестьянские дети. Согласен. Но вы только посмотрите, в каком мизерном количестве. Я предлагаю изменить устав училищ, которым помогает банк, с тем, чтобы широко открыть двери школ детям из крестьян.

Члены оппозиции переглядываются. Всем своим видом они выражают неудовольствие. Но Мачабели словно не замечает их ужимок, он бойко, все более воодушевляясь, продолжает:

— Яков Гогебашвили и Нико Цхведадзе вышли из народа. Но кому из дворян уступят они в знаниях, общей культуре или служении отечеству?!

Недоумение оппозиционеров возрастает, они презрительно надувают губы.

— В наших силах помочь крестьянам получить хотя бы начальное образование. Для этого в разных уголках страны нужно открыть сельскохозяйственные школы. Думаю, это предложение не встретит возражений. А вот со вторым вопросом нам придется куда труднее. Но мы сие же испытаем судьбу, чем черт не шутит.

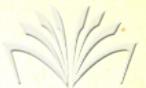
Собравшиеся насторожились, — какой еще сюрприз подготовил им Мачабели.

— Я говорю о заложенных и не выкупленных в срок землях. Если мы будем обрабатывать их по примеру европейских стран, то получим немалую выгоду. Но вначале это преобразование потребует затрат с нашей стороны, а где взять такую кучу денег? Я предлагаю выделить некоторую сумму из прибылей банка. Через несколько лет наше хозяйство настолько окрепнет, что все затраты оккупятся с лихвой. К сожалению, Илья Чавчавадзе с недоверием относится к этому моему предложению, так что нам придется выдержать бой.

— Пусть себе сомневается и возражает, — прервал Вано один из присутствующих, — Чавчавадзе может возражать пока язык у него не устанет, — зычно захотел он своей щутке.

Мачабели нахмурился и резко проговорил:

— Я никому не позволю худо отзываться о Чавчавадзе. У нас принципиальная борьба, и я сделаю все,



чтобы его победить. Но ругать Илью за спиной не делает нам чести.

Оппозиционеры, смущенные гневом Вано, поспешили оставить его наедине.

— Мачабели встал сегодня с левой ноги!

— Вообще он в последнее время что-то мудрит...

— Вот именно — ходит вниз головой.

— Не дать бы нам с ним маху.

— Бросьте, он с Ильей на ножах, куда ему деваться без нас, — говорили они по пути домой.

Что Мачабели и Чавчавадзе были на ножах, знали все. Но оба они по отношению друг к другу вели себя корректно, с должным уважением.

Вано даже в самый острый период борьбы не обронил в адрес Ильи грубого слова.

«Мачабели, — вспоминает один современник, — никогда не позволял себе или кому-нибудь другому лихом поминать Чавчавадзе».

Илья, со своей стороны, тоже не переступал границ дозволенного. Он ценил в Мачабели литератора и общественного деятеля, желал ему добра. Ну, а что касается споров по делам банка, то тут он был беспощаден.

За несколько месяцев до решающих боев Мачабели опубликовал свой перевод «Юлия Цезаря», и Чавчавадзе был бесконечно рад его творческой победе.

«Мы с большим удовольствием встретили новый перевод г. Мачабели, — писал И. Чавчавадзе в газетной статье, — и считаем его большим приобретением нашей литературы. Хотим надеяться, что Мачабели обрадует нас новыми переводами, сделанными с таким же вкусом и глубоким пониманием чудесных творений Шекспира...»

\* \* \*

Апрель выдался на редкость дождливым. Паводок на реках сильно мешал делегатам добраться до Тбилиси, но съезд обещал пройти бурно, и стоило на нем присутствовать. Ко дню открытия съезда почти все избиратели были на месте. Опоздали только жители дальних окраин. Наплыv избирателей был так велик, что городским гостиницам оказалось не под-

силу вместить всех, поэтому сторонники Мачабели наспех соорудили шалаши в одном из парков Тбилиси. Здесь же разожгли костры, принялись варить, жарить. К вечеру разгорелся пир. Мелкий дождь влажной стеной отгородил их от остальной части города, и делегаты веселились так шумно, словно были одни на всем белом свете.

Тбилиси жил шумной, беспройной жизнью. Предстоящий съезд сильно волновал дворян. Каждый судил по-своему, но никто бы не решился на мучивший всех вопрос: кто победит — Чавчавадзе или Мачабели. А что касалось сущности съезда — финансовые и организационные дела банка — она мало кого интересовала.

20 апреля 1896 года открылся очередной съезд Дворянского Земельного банка. Помещение грузинского театра, где происходило заседание, было набито до отказу. Избиратели и просто «зрители» сидели так тесно, что зал напоминал расколовый надвое плод граната.

Любители пышных фраз и долгих проволочек в первый же день съезда натянули свои души. Весь вечер съезд избирал председателя. Второй день был посвящен обсуждению вопроса не меньшей важности — пригласить ли на съезд стенографисток. Потом основательно спорили о том, зачитать решение прошлогодней комиссии сейчас же или отложить на конец съезда. Словом, избиратели трудились в поте лица.

Первые три дня прошли в напрасных спорах, — сообщали газеты, — избиратели толкнут воду в ступне, старательно обходя назревшие вопросы.

Истекала вторая неделя, а споры по-прежнему велись вокруг да около, делегаты все не приступали к делу. Они устали, издергались. Теперь уже в зале совещания появилось много пустых мест. Людям опостылела эта говорильня, надоело заседать и скучать. Мачабели выжидал, он хочет выступить после Чавчавадзе, однако Илья не торопится взять слово. Нудно, однообразно текут часы, из которых слагаются дни, недели. Избиратели зевают украдкой, сладко потягиваются, часто отлучаются в буфет. И уж совсем невыносима нудная процедура голосования — сторонники встают на ноги, противники

остаются сидеть. Некоторые избиратели, разбуженные колокольчиком председателя, спросонья не могут решить, что им делать, и невпопад вскаивают с мест или продолжают сидеть. Благодаря такой неразберихе на одном из заседаний произошел любопытный случай. Председатель начал голосование. Сидящий в первом ряду щуплый пожилой господин вскочил первым. Он оглянулся назад и застыл от удивления. Его сын удобно сидел на стуле, даже не думая вставать. Багровый от гнева, старик подскочил к сыну и отвесил ему увесистую оплеуху. Юноша подчеркнуто покорно прижал руку отца к губам и встал. Присутствующие вздохнули с облегчением. Председатель поспешил объявить перерыв.

Однако не всякий раз обходилось без скандала. Однажды даже дошло до оружия. Это случилось на тридцать седьмой день съезда.

Председатель собрания, который не скрывал своих симпатий к Мачабели, чем-то не угодил стороннику другой партии. И тот бросился на него с кулаками. Тогда с другого конца зала ринулся Кола Орбелиани, размахивая револьвером. В ту же секунду на сцене словно из-под земли вырос известный дуэлянт и забияка Лело Андроникашвили. Столкновение уже казалось неотвратимым, как между Кола и Лело встал почтенный и всеми уважаемый Дата Микеладзе.

— Господа, — сказал он спокойно, — оружием, как и собой, надо уметь владеть. Прошу сесть на места.

Наконец был назначен день избрания директоров банка — 20 мая. Утомленные бесконечными спорами и передрягами, делегаты шли к урнам как из-под палки.

Голосование началось рано утром, а кончилось поздно ночью.

Результаты не оправдали надежд членов другой партии — большинство делегатов поддержало Мачабели. В ответ на это председатель банка и члены ревизионной комиссии сообщили о своем намерении оставить службу.

— С этого дня, — решительно заявили они, — нашей ноги здесь не будет.

Мачабели торжествовал. Он одержал крупную победу и радовался ей от всей души.

На Мачабели градом сыплются телеграммы:

«Поздравляем мученика поборника истины торжественною победою».

«Душевно радуемся успеху искреннейше поздравляем».

«Поздравляем выбором».

«Да здравствует истина».

«Пьем за здоровье дорогого вновь избранного директора».

«Посрамление черных флагов и позорное бегство барельери вызвали восторг».

Однако торжествовать победу было преждевременно. Противник был побежден, но не повержен. Они, вопреки угрозам покинуть банк, через несколько дней, словно ни в чем не бывало, заняли свои места. Правда, они вернулись, однако сидели в креслах не ударяя палец о палец. Каждое утро они аккуратно являлись на работу и, нагло уставившись на Мачабели, ничего не делали. А работы было по горло, и Вано не мог один управиться с уймой нерешенных вопросов.

Мачабели растерялся. Ему приходится работать одному за всех да еще в такой нервной обстановке. Домой он приходит взвинченный, расстроенный каждый раз по новому поводу, недовольный то собой, то окружающими его людьми. Понятно, что в таком состоянии духа Вано не может вернуться к переводам, сердце не лежит. А раскрытый томик Шекспира на его столе — словно немой укор.

Банк похищает у Вано не только время, спокойствие, но и все силы души. Эта работа опустошает, обкрадывает его, не давая взамен ничего. И в довершение ко всему, в душу Вано закрадывается сомнение — может ли перевести, как и многое, что он делает с увлечением и самозабвением, не нужны никому. Может и этот орешек в конце концов окажется пустым и не стоило его разгрызать? Неужели все его старания напрасны и заранее обречены?

И вдруг нежданно-негаданно приходит утешение. Как-то утром, разбирая почту, Вано наталкивается на письмо из Керчи. Предчувствуя добрую весть, он дрожащими руками вскрывает конверт. Письмо написано по-английски, и Вано догадывается — оно от Уордропа.

«28 мая, 1896 год.

Дорогой друг, давно не писал Вам. В Керчи такое скучище, что мы просто изнываем. Шесть недель как гости у меня родители и брат. Моя сестра уже успела показать им все любопытные места Крыма. Сейчас они собираются попутешествовать по Кавказу. Без сомнения, они посетят Вас, если Вы окажетесь в Тбилиси.

Переводом «Юлия Цезаря» Вы можете только гордиться: он доказывает и удивительное богатство грузинского языка и Вашу гениальность. У меня имеются под рукой переводы Шекспира на французский, немецкий, русский, болгарский языки, но с Вашиими они не идут в сравнение.

Вы сделали такое, что если современники не оценили Вас по достоинству, то потомство воздаст Вам должное. Я пытаю надежды прочесть на грузинском всего Шекспира в Ваших переводах.

Моя сестра при встрече расскажет Вам свежие новости. Я тоже рвался к Вам от всей души, но сейчас это оказалось невозможным.

Передайте сердечный привет уваж. Тасо и Бабо. А также лучшие пожелания нашим дорогим тбилисским друзьям».

Сердце Вано переполнилось радостью. Ведь слова Уордропа были первым признанием работ Мачабели на ниве переводческой деятельности. К тому же это признание шло от знающего языки умного человека.

И к Вано вернулись силы, уверенность в себе. Он понял, что трудился не зря.

Не прошло и месяца со дня закрытия съезда Дворянского банка, как противники предприняли новое, хорошо подготовленное наступление. Совершенно неожиданно для Мачабели они созвали чрезвычайное собрание. Оно прошло в деловой обстановке, чем выгодно отличалось от съезда. На этот раз большинство участников держало сторону противников и нечего удивляться, что было принято угодное им решение. Собрание признало недействительными результаты голосования недавнего съезда и потребовало новых выборов. Мачабели выступил против.

— Я избран законно, — сказал он, — и считаю съезд полномочным.

Вы хотите изгнать меня из банка. Я не поставлю своей урны и не приму участия в вашем беззаконий.

Собрание не посчиталось с доводами Мачабели, и после голосования он оказался в банке не у дел.

Шестьдесят шесть членов правления банка — члены оппозиции — написали обращение:

«Мы не принимали участие в голосовании и считаем чрезвычайное собрание незаконным. Мы оставляем за собой право опротестовать результаты нечестных выборов».

Протест был составлен на имя министра, и Кола Орбелиани срочно отправился в Петербург. Кола послали не без тайного умысла — он слыл ловким человеком, к тому же сумел убедить оппозиционеров, что находится в приятельских отношениях с министром.

Орбелиани еще не успел доехать до Петербурга, а штаб оппозиции уже принял решение послать в помощь ему Вано Мачабели. Отправив жену и детей в Сачхере, он уехал в Петербург.

Кола встречал его на вокзале.

— Дела наши на мази, — кричал он, усиленно жестикулируя, — на днях министр даст распоряжение, и дело в шляпе.

Кола виделся с министром, был даже у него на обеде. Министр был учтив и внимателен, расспрашивал о Грузии, о своих знакомых. Кола постарался рассказать ему во всех подробностях о возмутительном самоуправлении Чавчавадзе, и министр слушал его сочувственно. Он даже качал головой, улыбался. А это чего-то да стоит. Правда, министр не дал ему твердого обещания, но он ведь не нашего десятка человек, ему нельзя бросаться словами. Орбелиани стреляный воробей, он с полуслова все понимает. Не быть ему Кола Орбелиани, если на днях не отменят постановления чрезвычайного собрания.

Вано слушает лихую речь Орбелиани и не верит ни одному его слову. Как свои пять пальцев изучил он Кола, знает цену его обещаниям. Но, может, Орбелиани на этот раз все же говорит правду, — ободряет себя Мачабели и широко улыбается.

Увы, Орбелиани оказался верен себе — протест оппозиции спокойно

лежал под сукном, а министр, конечно же по забывчивости, уехал на дачу, не дав распоряжения.

Кола окунулся в родную стихию — ночами напролет кутил, ездил по ресторанам, наносил визиты. В свободное от попоек время он заглядывал в канцелярию министерства «к своим дружкам» (как он писал в Тбилиси), но это делалось мимоходом, на скользкую руку. Куда чаще он посыпал в Грузию телеграммы:

«Успех обеспечен», «Наберитесь терпения и мы заставим врагов кусать себе локти», «Дело почти решено, задержка в подписи Министра», «Ура! Победа за нами...»

Вано же целыми днями бегает из министерства в министерство, а ночами не может сокнуть глаз. Его одолевают горькие думы, отчаяние, тоска по близким.

Чиновники ловко запутывают дело, Орбелиани развлекается, а Вано должен расхлебывать кашу. В этот приезд Петербург показался Мачабели мрачным, чужим городом. Он рвется на родину, к семье и готов бросить все дела к черту, уехать как можно скорее.

«Дорогая Тасо, — пишет он же, — давно не совершил я такой долгой поездки и, по всему видно, утомился. Петербург мне так не понравился, что хоть реви. Такое ощущение, словно я в заточении. У меня просто сердце не на месте. Хорошо еще захватил вашу карточку, хоть есть с кем побеседовать по душам. Если с божьей помощью все хорошо кончится, у меня вырастут крылья, и на них я примчусь к вам... Здешней волынкой я сыт по горло. Осточертело слоняться по канцеляриям и быть просителем. Мечтаю увидеть вас, мои родные, успокоить свое сердце».

В первых числах сентября Вано Мачабели с пустыми руками вернулся в Тбилиси.

Прошел декабрь, начался новый год, а делу все не видно было конца. Мачабели в ожидании ответа сидит дома без работы.

Он похудел, щеки впали, под глазами появились черные круги. И уже совсем некстати пришла нужда. В его записной книжке все чаще появляются записи: «Мои долги. Васо — 800, Картвелишвили — 857, Сардживили — 1438, Дарико — 2 000»

С запада надвигались тучи. Подгоняемые ветром, они обложили все небо и враз застыли на месте. Сверкнувшая молния отодрала землю от неба, оголила горизонт. Грязнул гром. Дождь густой сеткой накрыл город.

Мачабели проснулся. Он хотел поднять голову, но она была тяжелой, словно налитая свинцом. Во рту пересохло, и Вано облизал потрескавшиеся от жары губы. Он ощутил горький привкус. Осторожно высунул из-под одеяла руку, но дотянуться до стакана с водой не смог. Дождь остервенело стучал по железной крыше. Вспышка молнии осветила сидящую у его изголовья Тасо, и Мачабели с удивлением заметил в ее волосах белую прядь. Ему стало не по себе. В темноте Вано не смог разглядеть лица жены, но ему показалось, что веки ее опухли от бесконных ночных, а у губ залегли горькие складки. Он мучительно перебирал в памяти события последних недель, считал дни и ночи, проведенные у его постели Тасо, но запутался. Напряжение сменилось легкостью, каким-то радостным забвением. Вернувшись из этого состояния беспамятства, Вано принялся упрекать себя:

— И это обещанное тобой счастье! Что ты принес жене, кроме страдания? По какому праву вошел в ее жизнь, как злой дух? Втесался в ее судьбу, помешал ее счастью с полковником. С ним она не знала бы забот. А ты перебежал дорогу ее счастью.

Тасо встрепенулась, словно ее разбудили мысли Вано. Осторожно приложила губы ко лбу мужа — он пытал за холодной испариной. И Тасо рывком откинула голову, будто обожгла губы.

— Сейчас зажгу лампу. Господи, наверно опоздала дать лекарство, — сказала она, нашупывая пальцами спички.

— Не надо, не зажигай, — попросил Вано.

Она пододвинула к постели столик, взволнула склянку с жидкостью, наполнила ложку. Мачабели выпил одним залпом. Сморщился.

— Чего ты, оно ведь сладкое.

— Противно. Мне легче пить горькое... Привычнее.

— Вано, раньше ты не хныкал. С чего это сейчас? Усиокойся, еще несколько дней, и температура спадет. Тогда мы поедем в Пза, ты можешь бродить в горах. Поправишься, вернешь себе прежние силы, примешься за работу, — Тасо говорила часто, без остановки, словно повторяла заученные наизусть слова.

— Тасо, — шепотом произнес Мачабели, — Тасо, ты несчастлива со мной... Знает бог, я хотел принести тебе счастье... Не смог...

— Это стараниями врагов дни наши стали черными, а волосы белыми, — улыбнулась Тасо.

Но Мачабели не до смеха.

— Не сумел я сделать тебя счастливой. Нельзя нам жить вместе... Если я вылечусь, разойдемся... я твердо решил... со мной не быть тебе счастливой. Невезучий я, во всем невезучий. Кого любил всем сердцем, стали моими врагами. Куда ни подался, везде одни неудачи... Непременно разойдемся.

На пылающие щеки Мачабели упали две крупные слезы. Тасо тихо плакала. Вано хотел успокоить жену, сказать ей что-то очень важное, самое сокровенное, но голос не подчинился ему. Взамен слов откуда-то из-под сердца поднялось что-то круглое, большое и подкатило к горлу. Вано тщетно пытался избавиться от этого удушающего кома, загнать его обратно вглубь. Облегчение пришло как-то сразу — из глаз хлынули слезы.

Болезнь началась с пустяка, с легкой простуды. Вано попал под дождь и промок до нитки. К вечеру он почувствовал недомогание. Думал, что это грипп и, как всякий сильного здоровья человек, решил перенести болезнь на ногах. Вано вышел на свежий воздух погулять, а когда вернулся, то на нем не было лица. Тасо уложила мужа в постель, измерила ему температуру. Ртутный столбик в градуснике поднялся выше 40. Тасо, не раздумывая, вызвала знаменитого тогда врача Геге Магалашвили. У Вано оказалось воспаление легких.

Началась долгая, изнурительная борьба. Здоровый организм Мачабели самоотверженно сражался с тяжелым заболеванием. Врач по несколько раз в день навещал больного. Обычно веселый и разговорчивый, сейчас

он хмурился, молчал. Тасо все ночи напролет сидела у постели мужа. Худая, без кровинки в лице, она тревожно смотрела Магалашвили в глаза, старалась выпытать у него приговор.

На пятнадцатый день Магалашвили впервые улыбнулся. Слава богу, болезнь отступила. Но ликовать было рано. Воспаление легких — одна из тех коварных болезней, которая может возвратиться. Поэтому сейчас надо смотреть в оба, как бы не пропасть больного сквозняком.

К Вано вернулись хорошее настроение, бодрость. Через несколько дней он уже почувствовал в себе силы пройтись по комнате. Однако ночью поднялась температура, началась озноб. И опять — сухость ворту, горький привкус на языке, частое дыхание, беспамятство. Вновь на лбу врача собраны складки и плотно скжаты губы. Вновь бессонные ночи Тасо, опасения, горькие думы. Мачабели стал капризным, подозрительным. Никому он уже не верит, во всем ищет иной, скрытый смысл. Когда Магалашвили дает Тасо наставления, как ухаживать за больным, Вано весь превращается во внимание, старается поймать каждое слово, но сам не спрашивает у врача ни о чем. За время болезни Вано замкнулся, стал скрытным, а слух у него обострился; он слышит даже шорох в соседней комнате.

Вот и сейчас Вано напрягает слух, старается уловить причину волнения Тасо.

«О чём они щепчутся, что могло произойти, — теряется он в догадках, — недавно позвонил почтальон, неужели он принес что-то нерадостное?»

— Тасо, — нетерпеливо кричит он, морщась от боли. — Зачем приходил почтальон? — спрашивает у вбежавших Тасо и ее сестры Бабо.

Тасо строит на лице удивление. Вано испытующе смотрит в глаза Бабо, и та, смущенно потупив голову, бормочет. Вано не из чего волноваться. Какое-то письмо из России... К тому же отказ еще можно опротестовать, не на них свет клином сошелся...

Вано взбешен, он требует немедленно прочесть ему письмо. И Тасо читает вслух.

«Его Сиятельству Князю Ивану Георгиевичу Мачабели. По докладу

Господину Министру финансов ходатайства Вашего по предмету отмены постановлений чрезвычайного общего собрания членов Тифлисского Дворянского Земельного Банка 19—21 июня 1896 года, а также доставленных Правлением Банка по требованию Министерства финансов, по поводу однородных ходатайств, объяснений Его Превосходительство не признал возможным сделать какие-либо распоряжения по означенному ходатайству Вашему, о чем Особенная Канцелярия по Кредитной части и имеет честь поставить Вас, Милостивый Государь, в известность.

Начальник отдела»...

Мачабели ехидно смеется. Недавно назад Кола Орбелиани прислал поздравительную телеграмму, и оппозиция ликовала. Сегодня же он получил отказ.

Удивительнее всего, что Вано не обрадовала телеграмма Кола, так же как и не огорчило письмо из Министерства. Мачабели уже прекратил борьбу, смирился с поражением, сейчас он только сожалеет о потерянном времени.

— Лучшие годы пропранжирил, — говорит он вслух.

— Нет, Вано, ты жил не зря, — успокаивает его Тасо, — да и все еще впереди. Наконец-то ты серьезно возьмешься за переводы.

Мачабели чувствует себя все хуже и хуже. Ему уже трудно дышать, а боль под лопатками просто нестерпима. Все признаки гнойного плеврита. Диагноз Магалашвили подтверждает и консилиум врачей. Выход только один — операция.

19 июля опытный военный хирург Войно вынул у Мачабели два ребра, выкачал гной.

Вано терпеливо перенес сложную операцию.

— У князя Мачабели, — удивлялся хирург, — какой-то особенный организм, он целиком соткан из нервов.

Операция прошла успешно. Мачабели сразу стало так легко, будто хирург снял с его легких клещи, скжимавшие их.

Через месяц Вано уже был на ногах. Однако общая слабость долго его не оставляла.

По природе подвижному, непоседе Вано сейчас приходится быть осторожным, медлительным. Врач строго

настрого предупреждает ~~это не~~ делать резких движений и не волноваться.

Вано недавно перевел Шекспира и твердо решил перевести все его произведения. Каждое утро он уделяет любимой работе несколько часов. Рана после операции заживает медленно, и Вано трудно сидеть согнувшись над столом. Поэтому он часто меняет позы или массирует бок. За работой он быстро устает, голова кружится.

«Видно, отвык я от работы, — утешает себя Вано, — понемногу войду в ритм, верну себе прежнюю усидчивость».

Он редко, как о чем-то далеком и постороннем, вспоминает о банке. А случай, приключившийся на той неделе, вызывает у него улыбку.

Вано увлеченно работал, когда на лестницах раздался топот ног.

— Папа, папа, — ворвался к нему в кабинет младший сын, — мы играем в банк, и все хотят быть мачабелистами. С кем же воевать?

Вслед за ним вбегают соседские дети. Они шумят, перебивают друг друга, спорят. Вано ничего не может понять и просит мальчика постарше — сына Мариам Демуриа рассказать все по порядку.

— Дядя Вано, чтобы играть в банк, надо разделиться на две группы. Никушка говорит, что он ваш сын и должен быть мачабелистом. А мы тоже все любим вас и не хотим воевать с вами.

По лицу Мачабели пробегает тень.

— Зачем вам играть в банк, — говорит он мягко, словно вспоминая далекое прошлое, — смотрите, вашу крепость окружили войска Ага Магомет-хана. Скорее атакуйте их.

Мальчики шумной ватагой бегут во двор.

«Вот чего мы добились, — с горечью думает Вано, — даже дети играют в нашу взрослу игру».

Через несколько дней Мариам Демуриа зашла в гости к Чавчавадзе. Ее двое сыновей очутились «во вражеском стане». Чавчавадзе пригласил мальчиков, дал им по конфетке.

— Уважаемый Илья, вы угощаете своих кровных врагов, — в шутку сказала Мариам, — они приверженцы Мачабели.

— Что вы говорите! — с напускным удивлением сказал Чавчавадзе,



не может быть. Вы и вправду мачабелисты?

— Да, мы из лагеря дяди Вано, — серьезно ответили мальчики.

— Ничего, сейчас я их переманю на свою сторону, — лукаво улыбнулся Илья и достал из буфета пирожные. — Попробуйте, пальчики оближете.

Мальчики переглянулись и решительно положили на стол взятые ранее конфеты. Чавчавадзе засмеялся от всего сердца.

— Да вы и впрямь принципиальны, как Мачабели, — и, обратившись к Мариам, добавил: — Это хорошо, что они мачабелисты — я люблю стойких и нестоворчивых людей.

Он на минуту задумался, потом достал с полки свою книгу в красивом переплете и подарил ее мальчикам с надписью:

«Моим врагам — маленьким мачабелистам. От дяди Ильи Чавчавадзе».

\* \* \*

Наступила весна. Первые побеги на деревьях и буйно зазеленевшая трава манили Вано выйти в сад. Накинув на плечи мягкий плед, он спустился во двор.

У Вано радостно забилось сердце, но боль в пояснице напомнила о болезни, и он присел на скамейку. Беспокойство за Акакия Церетели омрачило его лицо. Совсем недавно, будто это было вчера, он и Акакий целями днями сидели у камина, развлекались беседами или игрой в наряды. Потом Акакий уехал на несколько дней в Кутаиси и там занемог. Пришло уложить его в больницу. У Акакия оказалось грудная жаба.

Вано, узнав о болезни друга, тут же послал на его имя телеграмму, но ответ запоздал, и Вано не находил себе места. Он просто не знал, что подумать. Наконец стороной он узнал, что Акакию лучше, он скоро выпишется из больницы.

«Твоя болезнь нас всех огорчила, — писал Вано другу, — мы так привыкли к тебе, друг Акакий, что после твоего отъезда чего-то не хватает глазам и сердцу. Вспоминаем тебя на каждом слове... Скорее выздоравливай и приезжай. Правда, радостей и здесь мало, но все-таки быть вместе — большое утешение...»

Вано торопит Церетели еще потому, что сам он должен ехать в Аба-

стуман и боится разминуться с другом.

Еще прошлой весной Магалашвили настаивал на поездке в Абастуман, но тогда у Вано не оказалось средств. За зиму он кое-как наскреб нужные деньги и уже готовился к дороге. Сейчас ничто не удерживало Вано в Тбилиси. Только приезд Акакия Церетели, вот они свидятся — и можно покупать билет.

В ожидании друга Мачабели еще раз прошелся пером по своему переводу «Кориолана», подчистил, исправил кое-что и все же остался недоволен. Свои ранние переводы ему больше нравятся, кажутся художественно выше этого, сделанного после болезни. Вано сомневается, стоит ли нести свой новый перевод в журнал «Моамбе». Или дать ему отлежаться, потом снова отредактировать.

— Вечно одна и та же история, — укоряет его Тасо, — ты всем недоволен. А напечатают, только и слышишь, что восторги. Поверь мне. «Кориолан» — не хуже остальных твоих работ.

— Хуже, хуже, — злится на себя Вано. — Но пусть будет по-твоему, напечатай.

В редакции «Моамбе» Вано встретили дружески. Все поздравляли его с выздоровлением, расспрашивали о семье, о планах на будущее. Перевод Шекспира буквально выхватили из рук. Более того, с Мачабели взяли слово, что в самом скором времени он переведет еще одну трагедию английского драматурга и, конечно, напечатает в «Моамбе».

Вано, довольный такой встречей, решил заглянуть и в банк. Ему надо было до отъезда получить для сельскохозяйственного синдиката, в котором участвовали и он с братом Тасо, двенадцать тысяч рублей.

Забегая вперед, скажем, что эти деньги, копейка в копейку были найдены после таинственного исчезновения Мачабели в его письменном столе.

День выдался счастливый: дома Вано ждала радостная весть — приехал Акакий Церетели. Друзья долго не выпускали друг друга из объятий. Условившись не говорить о болезнях, они вышли в сад. Вано рассказал Акакию городские новости, свои планы на отдых, на новые работы. Акакий слушал друга с живым интерес-



сом. Он одобряет намерения Вано написать цикл статей о театре, более энергично взяться за переводы. Но почему бы Вано не написать самому повесть или рассказы. Вано мнется, что-то скрывает от друга. Напрасно — Акакий видит его насквозь. Что ж, в добрый час, вся грузинская общественность будет рада почитать прозу (а может поэму?) Мачабели. Акакий давно подозревает, что Вано задумал что-то такое, таиться от друга нехорошо.

Мачабели, обратив слова Акакия в шутку, предложил сыграть в народы. Тем временем Тасо накрыла стол в тени деревьев. Друзья с удовольствием закусили.

Темнело. Со стороны Мтацминда подул свежий ветерок. Вано зябко поежился. Заметив это, Акакий настоял продолжить игру в столвой.

В десять часов вечера они погуниали. Мачабели чувствовал себя неважно, поэтому, съев несколько ложек мацони, прилег отдохнуть. Акакий и Тасо вышли на балкон. Вскоре к ним присоединился и Вано. Он сел лицом к надветренной стороне, укрыв ноги пледом. На улице стояла ночная тишина, и шаги полицейского, ходившего под балконом, были отчетливо слышны. Вано перегнулся через перила, окликнул постового.

— До которого часа дежурите?

— До шести утра, — охотно ответил тот. Нетрудно было догадаться, что он не прочь завязать беседу.

Но порыв ветра заставил хозяев балкона перейти в комнаты. Полицейский уныло зашагал дальше.

У Вано ныл бок, и вскоре, извинившись, он ушел в свою комнату. Акакий продолжал игру в народы с Тасо. Некоторое время Вано еще слышал стук костяшек, потом стало тихо. «Наверно, и Акакий лег спать», — подумал Вано. Из соседней комнаты, спальни Тасо, он услышал шум швейной машины. Но и он длился недолго. Весь дом погрузился в тишину.

Вано лежит с открытыми глазами. В распахнутое окно влетает треск кузнециков. Гибкая сосна, не скрывая любопытства, заглядывает в кабинет. На черном полотне неба разбросаны крупные звезды. Кто знает, может на одной из них так же не может заснуть какой-нибудь Мачабели...

Может, есть такая звезда на небе,  
Чья судьба неразлучна с судьбой нашей  
Земли;

Может, подобный мне человек живет там  
И думает о том же, что и я?

Вспоминает Вано свое юношеское стихотворение. Одно воспоминание влечет за собой целую цель других — Петербург, заграница, возвращение на родину, театр, «Дроэба»... какие счастливые годы.

Вано поднялся с кровати, подошел к письменному столу. Присел на краешек стула, чиркнул спичкой. По столу были разбросаны бумаги (Мачабели утром приводил свои записи в порядок, но не докончил). Вано почему-то поднес одну из них к свету. «Р. и Дж. — 88 стр.» прочел он на полях. Эта запись относилась к далеким, как ему теперь кажется, призрачным временам.

— Если я переведу, вы сыграете Джульетту?

— Со всем увлечением.

— Ловлю вас на слове.

— Я обязательно сыграю.

— И с тем большей охотой, что это будет для меня?

— И с тем большей охотой, что это будет для вас, — явственно слышит Мачабели голос Мако. И так же явственно слышит он биение своего сердца. Спичка гаснет, перед глазами Вано ходят черные круги. Он покраснел, чиркает, зажигает свечу. Делает несколько ковыляющих шагов и, как подкошенный, падает на кровать.

— Сколько времени я лежу? — думает Вано в минуты просветления и вновь проваливается в черную бездну.

Потом его взгляд останавливается на свече — она оплывает, колотит. Вано хочет встать, но не может. Словно все злые силы ночи навалились на него, прижали к постели. Он пытается крикнуть Тасо, но язык напертво прилип к нёбу. И вновь провал... Плавно, без скрипа, открывается дверь. Из темноты выступает худой старик. Волосы и борода на нем горят ржим огнем. Старик улыбается беззубым ртом, что-то показывает Вано.

— Куда, куда ты зовешь меня? — стонет в бреду Мачабели. И просыпается. Вокруг темно. Дверь закрыта. Свеча догорела. Неимоверным

усилием воли Вано заставляет себя подняться. То хватаясь за стул, то идя вдоль стены, он добирается до балкона. Но что это? Все тело Вано обял страх. Черный, когтистый страх.

Мачабели видит, как дрогнули звезды, закружилась вселенная. От грохота у него ломит в ушах.

И Вано дрожит, дрожит всем своим существом. Он вбегает к себе в кабинет, зажигает огарок, сгребает в охапку рукописи...

Слабый свет из окна недолго серебрил листья сосны. Вскоре он жалко вспыхнул и погас.

## ЭПИЛОГ

Уже две недели жители обоих берегов Куры участливо наблюдают, как с утра до вечера вдоль реки ходят заросший бородой сутулый мужчина. Ходит от Муштайнда до Ортачальских садов, потом обратно. Иногда он останавливается, напрягает слух, всматривается в Курь, словно хочет выпытать у нее тайну.

Но тщетно.

Если спасателям или рыбакам удается выловить в реке утопленника, они посыпают за этим мужчиной ребят. Тот бежит к собравшейся толпе, расталкивает ее, падает на колени и с дрожью в сердце ищет знакомые черты.

— Может вы ошибаетесь, утопленника не так-то легко узнать, — говорят ему рыбаки.

Он печально улыбается. Он не может ошибиться. Он узнает каждую черту, каждую морщинку в лице того, кого ищет...

И опять ссугутившись бредет вдоль Куры. Кто знает, какие мысли сверлят его мозг, какие воспоминания бередят его душу. Часто к нему подходят группы студентов, предлагаю свою помощь. Они вместе идут по берегу, вместе ищут пропавшего.

Но тщетно.

У редактора «Иверии» странная привычка — запрется у себя в кабинете, курит одну папиросу за другой и пишет, пишет. Через два-три часа статья готова. Однако на этот раз он заставил всех волноваться. Еще вчера вечером ушел к себе и до сих не выходит. А статья срочная, из-за нее стоит газета. Сотрудники обеспокоены, но напомнить редактору не решаются.

Всю ночь просидел редактор за столом и не написал ни одной строчки. Всю ночь он читал... «Короля Лира». Прочтет стихотвору или монолог — смотрит сухими от горя глазами в окно, думает и курит. Каждое слово перевода воскрешает в его памяти годы, встречи, лица. Он вспоминает маленькую комнатушку, свечу, воткнутую в бутылку, беседы, первые радости и... зеленые глаза юноши — они смотрят на него с обожанием. В комнате накурено, как и сейчас, однообразно тикают часы, за окном хлопочет дождь.

В дверь осторожно постучали. «Войдите», — сказал редактор, накрыв книгу стопкой бумаги. В открытую дверь устремился густой табачный дым. Человек, стоящий на пороге, невольно поднял руки, будто хотел оттолкнуть ими дым. Редактор посмотрел на него исподлобья. Его глаза спрашивали. Но сотрудник отвел взгляд. «Все еще не нашли», — решил редактор. В его глазах стояли слезы.

На Ольгинской улице в доме напротив остановки конки надрывно плачет молодая женщина. Когда со двора или улицы слышится шум шагов, она обрывает рыдания и чутко прислушивается.

— Нет, это не его шаги, — качает она головой и вновь заливается слезами.

Ее часто посещают друзья мужа, и каждого из них она снова и снова рассказывает:

— ...всю ночь меня мучали тревожные сны. Когда я проснулась, голова раскалывалась от боли. Я открыла настежь окно, но от свежего воздуха не стало легче. Я вспомнила, что лекарство от головной боли лежит в столе у мужа, и тихо открыла дверь. В комнате было тихо, словно она нежилая. Я хотела разбудить мужа, но постель оказалась пустой. У меня кружилась голова, и я присела на край кровати. Вдруг мне стало страшно — простыня была холодной, она уже потеряла тепло человеческого тела, — потом отчаянно добавляет: — Вано не может исчезнуть, он вернется... вернется.

А на Цилканской улице в одиночестве оплакивает свое прошлое известная грузинская актриса. Ей не с кем поделиться, некому открыть душу. Наедине с собой она должна переносить горе. И только рукописи, бережно хранимые ею листки, видят ее слезы.

«Я люблю тебя, люблю и не уступлю больше никому», — слышит она издалека знакомый голос...

Имею честь донести Департаменту Полиции, что обстоятельства и причина исчезновения князя Ивана Георгиевича Мачабели остались не выясненными, ввиду загадочности исчезновения и не нахождения трупа

Начальник Тифлисского Губернского Жандармского управления

Нет, мой Вано так не прощает. Он где-нибудь заграницей находился, большими делами

Бородатый

Наталия Мачабели,  
жена Ивана

Тифлис, Ольгинская, 40, княгине Мачабели.  
Получила Вашу телеграмму. Несколько дней искала по всему Лондону Вано  
Мачабели. Его нигде нет.

Вчера и позавчера 200 полицейских, конные и пешие, искали по всему городу и его окрестностям князя Ивана Мачабели, но найти живым или обнаружить труп не удалось.

Из газет

Ночью 27 июня 1898 года таинственно исчез видный общественный деятель, талантливый журналист, переводчик Шекспира, бывший редактор газеты «Дроэба» князь Иван Георгиевич Мачабели.

Из газет

Марджори Уордерен

Вчера же 27 июня Вано был в хорошем настроении. Чутил, смеялся, много играл в нарды. Потом сразу почувствовал усталость и, извинившись, ушел в свой кабинет

Никакий Черемуха

За несколько дней перед исчезновением князя к нему приходил какой-то неизвестный, по наружности интеллигентный человек, после громкого разговора с которым Князь немедленно ушел из дома.

Сведения полиции

Накануне родственники

2. Мачабели рыбаки выловили в реке Кура 60 утопленников. Ни в одном из них не было опознан Ивана Мачабели

Рассказ очевидца

Всю ночь меня мучали тревожные сны. Когда я проснулась, голова раскалывалась от боли. Я открыла настежь окно, но от свежего воздуха не стало легче. Я вспомнила, что лекарство от головной боли лежит в столе у Вано, и тихо открыла дверь.

В комнате было тихо, словно она нежилая. Я хотела разбудить Вано, но гостиница была пуста. У меня кружилась голова, и я присела на край кровати. Вдруг мне стало страшно — простыня была холодной, она уже потеряла тепло человеческого тела...

Из показаний Настасии Александровны, жены Ивана Мачабели

**От автора:** Много воды утекло с тех пор. Но яркая и в то же время трагическая жизнь Ивана Мачабели по-прежнему волнует поколения, служит родником светлых, а порой и грустных раздумий.

*Отар Мампориа*

## Давиду Клдиашвили

Перевод с грузинского Т. Задонской

Величавые, мшистые, броские, —  
Я красой этих гор опьянен,  
Сыплет солнце лучами-колосьями,  
Небосвод ими насквозь пронзен.  
И земля, принимая их ласку,  
Отдыхает, ясна и тиха...  
Мне б такую горячую краску  
Для большого накала стиха.  
Рядом лопнули почки неслышно,  
Ветер вскинулся, в далях пропал,  
Деревенский ручей, как мальчишка,  
Торопливо в камнях

проскакал.

В кроне персика — блик  
золотистый  
Набежал от пастушьих костров,  
Окна од<sup>1</sup> простодушно и искренно  
Распахнулись, как чохи<sup>2</sup> сватов.  
Все здесь дорого сердцу и мило:  
И широких полей зеленя,  
И встревоженный шорох осины,  
Рост лозы, угасание дня...

Что ни шаг, то печальные были  
Обступают, волнуют меня...  
Вот и мачеха Саманишвили<sup>3</sup>  
Притайлась за тенью плетня.  
А туман над травою клубится,  
Рассыпаясь блестящей росой,  
Ветер гонит увядшие листья.  
Слыши голос знакомый, родной.  
Одиночество — горя вершина, —  
Давит сердце мучительный стон...  
«Боже, боже», — вздыхает Бекина...  
Здесь с отцом разделялся Платон.  
А когда-то бездумно резвился,  
Удивляясь и веря всему.  
...А туман все клубился, клубился —  
Упывал, как надежда, во мглу...

Облаками оделись отроги.  
В тихом шелесте старой туты  
Я шагаю по пыльной дороге  
В нестареющий мир красоты.



<sup>1</sup> Ода — крестьянский дом в Западной Грузии.

<sup>2</sup> Чоха — грузинская национальная верхняя одежда.

<sup>3</sup> Здесь и дальше — персонажи из произведений Д. Клдиашвили.



ДАВИД КЛДИАШВИЛИ

(Редкий снимок)

Серги Чилая

## Большой художник

Это было в 1930 году. В Тбилисском театре оперы и балета отмечался юбилей Давида Клдиашвили. Зал переполнили почитатели таланта писателя. Но вот, коротко охарактеризовав заслуги Давида Клдиашвили, председатель юбилейной комиссии между прочим сказал: «Давид Клдиашвили беспощадно разоблачал и высмеивал никчемное дворянство Имеретии, ставшее на путь деградации...» Старик встрепенулся, встал и снова сел. Все почувствовали: юбиляр обижен. Но тут последовали доклад, приветствия, аплодисменты, перешедшие в овацию... Наконец, слово предоставили юбиляру. Поднявшись на трибуну, он долго не мог совладать с волнением и вдруг произнес: «Я никогда ни над кем не смеялся». Эти слова, выразившие природу и характер творчества Давида Клдиашвили, ураганом ворвались в зал...

Кто же был прав в этом споре?

Если внимательно проследить за всем творчеством Давида Клдиашвили, станет ясно, что писатель бесконечно правдиво и мастерски показал всю несостоятельность и неприспособленность имеретинского дворянства. И показал это в столь оригинальной форме, с такой эмоциональной силой и талантом, которые доступны лишь избранным. Но чуткий читатель не может не заметить и другого: когда Д. Клдиашвили рисует этих голодных, несостоятельных и никчемных людей, он никогда не смотрит на них свысока, никогда не высмеивает их саркастически. Напротив. Писатель болеет душой за них и с большим сочувствием лепит их незабываемые образы. Но Д. Клдиашвили, верный и последовательный защитник реализма, до конца последователен в обрисовке характеров этих людей, против которых восстает сама действительность.

Говоря об Отиа Камушадзе, Давид Клдиашвили обронил такую фразу: «Именно пожалел бы его человек, если

бы сама история не была так смешна». Но это не случайная фраза, ибо она точно выражает позицию Д. Клдиашвили, как художника, еще раз доказывает, что он с большим сочувствием относился к изображаемым им людям. Писатель был большим, предельно правдивым художником, выразителем социальных и национальных тенденций дореволюционной Грузии.

Описание действительности, ситуации, созданные вокруг героев писателем, смешны, смешна именно обстановка. За смехом скрыты безграничая горечь и печаль автора. Между строк, в подтексте и репликах, нельзя не почувствовать большую боль писателя. Именно поэтому Д. Клдиашвили, как художник, считал, что он ни над кем не смеется, он был уверен, что смеяться над людьми — не его призвание. И его гнев на юбилейном вечере был вызван, очевидно, этим обстоятельством. Но обратимся к фактам.

О чём бы и о ком ни рассказывал писатель — о дворянине, крестьянине, рабочем или интеллигенте, — он показывает их жизнь с большой непосредственностью, пользуется неприкрашенными, естественными красками. Д. Клдиашвили, безусловно, хорошо понимает классовую основу социальных инстинктов и чувств, прекрасно знает, что время, история окончательно расправились с изжившими себя социальными и классовыми инстинктами, ложной верой и обманчивыми иллюзиями, что теперь уже никакая сила не повернет вспять жизнь дворянства. Оно обречено. Но в то же время писатель-гуманист имеет дело с человеком и прежде всего с человеком, он создает обобщенный образ и характер этого человека. Именно это и определяет интонации писателя: судьбу этих исторически обреченных людей Д. Клдиашвили никогда не рисует с субъективной неприязнью.

Он изображает процесс гибели дворянского класса как большой художник. В этом объективном показе действительности ясно выражен приговор, вынесенный историей этому классу. Но субъективно, как гуманист, писатель рисует своих героев.

Д. Клдиашвили тонко подметил, что разорившийся дворянин не понимает сущности своей несостоятельности. Среди дворянства многие были полны прежней спеси, бахвальства, самодовольства, жили с ссылкой на свое происхождение,



Давид Клдиашвили и Акакий Чечетели

звание или фамилию. Но между бахвальством и возможностями дворянства — страшная пропасть. Этот острый конфликт между психологией дворян и их реальными возможностями и выявил Д. Клдиашвили.

Давид Клдиашвили — грузинский писатель XIX столетия. Проблемы и вопросы, поставленные в его творчестве, отражают жизнь его современников: судьба дворянина, положение крестьянства, национальный и социальный гнет и вытекающие отсюда чаяния нации... К этим темам грузинская литература XIX века обращалась многократно. Они нашли отражение и в творчестве Д. Клдиашвили. Но ему уже сопутствует пафос борьбы, характерный для новой эпохи, для нарождающегося двадцатого столетия. Итак, Д. Клдиашвили одновременно и младший брат Ильи Чавчavadзе и Акакия Чечетели по своим взглядам, и сын бурной эпохи, пришедшей в Грузию в конце XIX века вместе с движением социал-демократических рабочих партий.

Он — свидетель и участник первых революционных лет на заре XX века. В его гражданской психологии и в его творчестве эти черты нового отразились в пафосе, тесно связанном с критикой старого уклада жизни, и в тех интонациях, которые выразили симпатию новым борющимся силам.

Из книги «На моем жизненном пути» видно, насколько тесно был связан писатель с революционными силами, сверг-

шими самодержавие. В этих воспоминаниях Д. Клдиашвили показаны социальные и классовые партии и группировки действовавшие в XX веке. Особое место удалено описанию революции 1905 года, Февральской и Октябрьской революцией. Но революционный пафос XX века, безусловно, отразившийся в творчестве Д. Клдиашвили, отнюдь не мешает ему быть в литературе предоктябрьского периода последовательным защитником великих традиций, грузинской классической прозы, твердую основу которой заложил И. Чавчavadзе. Критический реализм Д. Клдиашвили берет начало именно в творчестве И. Чавчavadзе.

\* \* \*

Давид Клдиашвили пришел в грузинскую литературу в период, когда имение дворянство, преисполненное гонора и спеси, встало на путь упадка и разорения. Начиная с XIX века оно потеряло сословные и экономические привилегии, дарованные ему историей. Формальное уничтожение крепостного права отняло у него даровую рабочую силу — крепостное крестьянство; а дворянству, вступившему на путь буржуазного уклада жизни, нужны были деньги, единственным источником которых оставалась земля. Поэтому началась ее распродажа. Ясной стала обреченность и несостоятельность дворянского сословия и особенно мелкого дворянства. И все же в этот период экономического и политического упадка дворян среди них находились люди, продолжавшие кичиться своим званием, не имея при этом никакой экономической и политической базы. Это противоречие увидел и как большой художник обобщил Давид Клдиашвили, прекрасно знавший психологию людей того мира, о котором он писал.

Он родился в Имеретии, в дворянской семье. Здесь провел детские годы, увидел тех людей, которых в дальнейшем изобразил в своих произведениях. В среде имеретинского дворянства, в атмосфере их быта родились такие замечательные рассказы Д. Клдиашвили, как «Соломан Морбеладзе», «Мачеха Саманишвили», «Невзгоды семьи Камушадзе», «Свиньи Бакулы».

Этот цикл рисует дворянский быт в Имеретии. Каждая деталь, картина и действие героя взяты непосредственно из жизни, выражены с предельной правдивостью. На первый взгляд рассказы посвящены одной и той же теме, говорят об одном и том же. Но герои их обрисованы столь различными красками, что каждый из них живет своей самостоятельной жизнью.

Д. Клдиашвили умеет строить острый конфликт, создавать типичные характеры из мелких, бытовых деталей, внутренне трагичное сделать внешне смешным, не упуская при этом главного —

показа обреченности дворянства, вызванного конфликтом между его психологическими и экономическими возможностями.

Во всей полноте эта характерная для Д. Клдиашвили манера письма проявилась в первом же его рассказе из жизни имеретинского дворянства — «Соломан Морбеладзе».

В образе Соломана Морбеладзе писатель отразил типичную историю жизни обедневшего дворянства. Отвергнутый миром и историей, он обеспечивает себе кусок хлеба сватовством. «Этим ремеслом, только им и добываю жалкие гроши, и если начну врать, так кто же мне поверит?» Несмотря на это, Соломан Морбеладзе вынужден встать на путь лжи.

Писатель сознательно подчеркивает, что тяжело приходится не только Соломану: «Если бы нуждался я один, еще куда ни шло... А то ведь все, все нуждаемся кругом. Куда же податься, к кому пойти за помощью?».

Жизнь обедневшего дворянства Имеретии Д. Клдиашвили изобразил отнюдь не как сторонний наблюдатель. Вот что он сам говорил в связи с этим: «Многие читатели смеялись, читая мои рассказы, а я, написавший их, клянусь, не раз в смятении отходил от стола с недописанной рукописью. Я всегда старался подать читателю как можно более правдивый материал, чтобы и он почувствовал ту безнадежность и безутешность, которая нас окружает».

Это высказывание снова подтверждает то положение, что Д. Клдиашвили резко разграничили обедневших, но трудящихся дворян от той части дворянства, которая захлебывалась в спеси и безделье, хирела и вырождалась, не желая шевельнуть пальцем, дабы не утратить своего дворянского достоинства. Писатель сочувствует тем дворянам, которые влились в армию трудящихся. Ярче всего это проявилось в рассказе «Невзгоды семьи Камушадзе». Главный герой ее, Отиа Камушадзе, трудится от зари до зари на маленьком участке земли, доставшемся ему по наследству, но все же не в состоянии прокормить свою семью. И хотя его мать Эквириэнэ нередко хвастает этой землей, Отиа, чтобы поддержать существование семьи, решает покинуть деревню и отправиться в город. Хотя, как истинный художник и блестящий знаток городской жизни, Д. Клдиашвили (он прожил в Батуми 26 лет) не был уверен в том, что Камушадзе найдет там свое счастье: «Условия, созданные жизнью, способствовали проповеди отрыва от земли, и из деревни в город устремилось множество народа в поисках лучшей жизни, но в этом вопросе не было единого мнения. Одни видели выход в отрыве от земли, другие убеждали, что отрыв от земли означает нашу гибель».

Типичные образы городских комбинаторов, двуличных и лживых взяточников (Беглар Чинчадзе, Порфирий Биашвили) свидетельствуют о том, что в городе далеко не все благополучно. И тем не менее очевидно, что будущее за городом. В этой мысли — пафос рассказа. Потому-то Порфирий Биашвили, увидев, в каком положении оказалась деревня, и говорит: «В таком же положении очутился бы и я, если бы вовремя не удрал отсюда».

Д. Клдиашвили обрисовал Отию Камушадзе в мрачных трагических тонах, но, наделив его психологией обреченного человека, в то же время не лишил его жизнеспособности. На это в свое время обратил внимание Александр Цулукидзе. Он писал: «Отиа Камушадзе фактически отказался от своих сословных привилегий, он хочет трудом отвоевать от природы средства к существованию, но, преследуемый голодом, бежит в город. Последний образ более жизнедеятельный, и его жизнь становится предметом серьезного наблюдения и изучения».

Созданные писателем образы дворян, которые мы вспоминаем тотчас же при упоминании имени Давида Клдиашвили, несомненно ярки, колоритны и разнообразны. Вот Кириле Миминошвили, Аристо Квашвадзе, Абесалом Саламтадзе, которые всю свою жизнь проводят в кутежах и драках. А вот Платон Саманишвили, Отиа Камушадзе и другие азнауры, вконец разорившиеся, поправившие сословную спесь и обратившиеся к «крестьянской профессии». Большинство их обречено. Д. Клдиашвили изображал этих чванливых голодранцев в комических ситуациях, и тут его можно сравнить с Сервантесом.

Хвастовство, чванство и спесь, присущие разоренному дворянству, явились прекрасным материалом для юмориста Д. Клдиашвили, придающего неповторимый блеск его произведениям.

Все образы и характеры взяты из жизни западногрузинского обедневшего дворянства, которое Д. Клдиашвили знал досконально. Все эти Платоны и Аристо, Порфирий и Кириле встречались автору на каждом шагу. Он отмечал: «Узел, нерв повести «Мачеха Саманишвили» взяты мной из тех бесед, которые я имел с тестем моим Павле Мачавариани, его дом всегда был полон гостей, старые, молодые — все собирались в этой семье. Кого бы вы только ни встретили здесь, что бы ни услышали; можно было познакомиться с жизнью, погостиив некоторое время в его доме».

Однако Д. Клдиашвили не только брал свои персонажи из жизни, но типализировал их и создавал обобщенные художественные образы большой впечатляющей силы. Вот, к примеру, рассказ «Проклятие».

Кация Сагунашвили «дал отдохнуть» своему крошечному наделу земли. Этим воспользовались сельчане. Они забросили старую проезжую дорогу и провели новую через надел Кация. Когда он вновь захотел отгородить свою землю, крестьяне не уступили ее, особенно упорствовал Андриа Чурашвили. Кация ничего не смог добиться ни в сельской канцелярии, ни в суде, ни в губернии. Тогда он решает обратиться к более могущественному суду — святому Георгию. Но и он не внемлет Кация. И вот возмущенный крестьянин оскорбляет икону. Это событие взбудоражило все село. Темный, отсталый народ отворачивается от Сагунашвили. Суеверный страх нападает на Кация, у него помутился разум. Он умирает, убежденный, что совершил тягчайший грех, которому нет искупления.

Так изобразил писатель отсталую психологию дореволюционного крестьянина.

Аналогичная картина и в «Жертве». В болоте суеверия гибнут и крестьянка Маринэ, и обвиненная в колдовстве «ведьма» Пепена и другие.

Эти рассказы, а также другие произведения, посвященные крестьянской жизни, написаны с большим мастерством и художественной силой. И здесь в центр внимания автор ставит человека, его характер, обобщая и типизируя конкретное.

Так кто же был прав на юбилейном вечере в 1930 году?

Как мы убедились, писатель с болью писал о том убожестве, в котором пре-  
бывала грузинская дореволюционная деревня, о той тяжелой, беспросветной жизни, которой жили крестьяне и вместе с ними дворяне, приобщившиеся к труду. Он не смеялся над ними. Но объективно нарисованные образы их изображены в таких красках, что, действительно, «читатель от души смеялся».

В рассказах Д. Клдиашвили трагические интонации совмещаются с комическими ситуациями. И все же пафос его произведений строится на обличении исторически изжившей себя психологии дворянства.

Д. Клдиашвили прекрасно видел и понимал, что новые бури истории сметают старые законы, старый уклад жизни. Дворяне оказались выброшенными из гнезда и нет силы, способной водворить их обратно и удержать в прежнем состоянии. И над дворянином уже смеется недавно забытый, а теперь подымавший голову крестьянин.

Писатель блестяще изобразил эту социальную и психологическую дуэль крестьянина и дворянина в «Невзгодах семьи Камушадзе». Вспомним это место: Отия пригласил крестным для своего ребенка крестьянина Самададзе, совершив таким образом шаг, оскорбительный для

дворянину. По этому поводу между Эквириэн, Отия и Соней возник спор, хотя они сознают, что кумовство с крестьянином по тому времени нужный и полезный шаг, чути ли не средство продолжения их существования. И они вынуждены пойти на это. Самададзе же, чувствуя свою крепнущую силу, смело разговаривает с дворянами, собравшимися на крестине, даже препирается с одним из них, назвав его «осенним» дворянином. И это определение не случайно. Оно характеризует отношение Д. Клдиашвили к дворянству и указывает на историческое чутье писателя. И если субъективно он с болью изображает их бедствия, то объективно картины, нарисованные сильной рукой реалиста, изобличали обреченность дворянства.

\* \* \*

По призванию — Д. Клдиашвили профессиональный писатель. Но в силу того, что литературный гонорар не обеспечивал прожиточного минимума, ему приходилось работать то на военной службе, то в городской управе, то в кантоне. Служба отнимала много энергии и времени. И только большая потребность писать спасла Д. Клдиашвили как писателя. Его литературное наследие довольно обширно и многосторонне (проза, драматургия, мемуары). В этом Д. Клдиашвили — соратник и последователь Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели и других шестидесятников.

Несколько слов о драматургии Д. Клдиашвили.

Драматургия в Грузии XIX века была неотъемлемой частью национальной культуры. Она воспитывала в народе бунтарские, социальные и национальные инстинкты.

Интересы грузинского национального театра диктовали лучшим сыном Грузии братьсяя за перо драматурга.

Д. Клдиашвили в бытность в Батуми сам был свидетелем того затруднительного положения, которое переживал грузинский театр. Из-за ограниченности грузинского репертуара выдающиеся актеры — Ладо Месхишвили, Васо Абашидзе, Наталия Габуния и другие — вынуждены были нередко весь сезон до вольствовать второстепенными переводными пьесами. А грузинский зритель хотел видеть на сцене грузинские характеры. Думается, именно это и побудило Д. Клдиашвили — прозаика по призванию — испытать свои силы в драматургии. Этот опыт оказался удачным. Сам Д. Клдиашвили был настолько скромен и требователен к себе, что назвал свои пьесы просто сценами сельской жизни, хотя и знал их подлинную цену. Он писал: «Впервые в Тбилиси была поставлена пьеса «Счастье Иринэ». Пьеса, как говорится, провалилась, провалилась удивительно. Тбилисцы совер-

шенно не принесли пьесу. Смотрю и дивлюсь — куда исчезли мои образы, как они изменились?».

На этом представлении присутствовал Ладо Месхишивили, специально приехавший из Кутаиси. Он обещал Д. Клдиашвили поставить пьесу в кутаисском театре так, чтобы открыть зрителю все ее достоинства. И выполнил свое обещание. Об этом писатель вспоминал с большим волнением.

Перу Д. Клдиашвили принадлежат три прекрасные пьесы: «Счастье Иринэ», «Горести Дариспана», «Несчастье», прочно вошедшие в репертуар грузинского театра. Как в прозе, так и в драматургии основным творческим методом Д. Клдиашвили является критический реализм, принципам которого писатель был всегда верен.

«Только действительность и действительность — я неуклонно служил принципу верного изображения действительности», — признавался Д. Клдиашвили.

В его пьесах чрезвычайно колоритно изображен быт дореволюционной деревни. Здесь нет ничего выдуманного, все просто, обычно, но все характеры вылеплены так галантливо, что с первого же раза накрепко западают в память, будь то Дариспан, странствующий по деревням со своей дочерью Карожной в поисках жениха, либо задавленная судьбой Иринэ или ее отец Филипе — раб

старой жизни, оказавшийся жертвой отжившей традиции, затем набожная Туфия. Все эти образы нарисованы живо и выпукло, в явно комедийном тоне.

Но наиболее комедийны из них «Горести Дариспана», хотя и здесь, как и в других пьесах Д. Клдиашвили, налицо сочетание комедийного с трагедийным.

Пером подлинного гуманиста обрисовал Давид Клдиашвили дореволюционную Грузию, переживания своих соотечественников, их думы и чаяния. Писатель показал то, чего не должно быть, с чем нужно бороться. Он призывал к лучшей жизни и одним из первых замечал ростки этой жизни, героев грядущего дня («Надежда родителя»). И когда писатель увидел новую Грузию, которая вышла на широкую дорогу обновленной жизни, он всей душой приветствовал возрождение своей родины. Вместе с Василием Барновым на I съезде писателей Грузии (1926 г.) он обратился к собратьям по перу с горячим призывом отражать в своем творчестве новую жизнь Грузии. И сам Давид Клдиашвили после многолетнего перерыва в литературной деятельности (с 1914 года) с новыми силами и энергией берется за перо. Вскоре увидели свет его воспоминания «На моем жизненном пути» и две новеллы. Это — творческий ответ на требования эпохи писателя-классика, столетие со дня рождения которого мы отмечаем.



Гурам Канкава

## „Десница великого мастера“ К. Гамсахурдия

Исторический роман XX века в грузинской литературе имеет определенные традиции. В прошлом столетии в Грузии углубление национального самосознания способствовало возникновению исторического жанра в прозе и поэзии. В грузинской исторической художественной литературе этого периода нашли отражение идеи национально-освободительного движения. Произведения этого жанра в XIX веке не знают иной концепции, кроме народно-патриотической. Для авторов этого периода история — это летопись становления национальной самобытности и борьбы за национальную независимость. Патриотическое мировоззрение является идеейной базой «Судеб Грузии» Н. Бараташвили, «Застольного тоста» Г. Орбелиани, «Торниэ Эристави», «Нателы» и «Баши-Ачуки» А. Церетели, «Николоза Госташабашвили», «Царя Димитрия Самоотверженного» И. Чавчавадзе, «Бахтриони» Важа Пшавела, «Элисо» и «Хевисбери Гоча» А. Казбеги.

Однако художественно полноценное формирование исторического романа, как нового литературного жанра в грузинской литературе, относится к началу нашего века. Оно связано с именем Василия Барнова. В исторической прозе В. Барнова история — это подлинная школа национальной доблести.

Патриотическая историческая концепция лежит в основе и малень-

кого шедевра Уиараго «Мамлюк» (1912 г.).

Н. Лордкипанидзе считает, что прошлое в произведении должно находиться в контакте с настоящим так, чтобы старые проблемы (например, при обрисовке этического облика героя) стояли в повестке сегодняшнего дня. Историческая проза Н. Лордкипанидзе социальна, но основная тема ее — национальное прошлое Грузии — решена автором и в социальной, и в морально-этической плоскости.

К историческому мировоззрению В. Барнова из грузинских исторических романистов наиболее близок Ш. Дадиани. В понимании истории он всецело стоит на национально-патриотической точке зрения и горизонт истории для него замыкается там, где решаются вопросы национального суверенитета и независимости.

Первым грузинским историческим романом, который по своей сложности и масштабности удовлетворяет самым высоким требованиям советской исторической художественной прозы, является «Арсен из Марабды» Михаила Джавахишвили. Собственно исторический аспект романа стоит на высоком научном уровне. За внешними фактами автор видит их глубокие социально-политические причины, стремясь выявить закономерности социального развития и

внутренние движущие силы исторического процесса.

Таковы писатели, заложившие в грузинской литературе основы исторической романистики и, следовательно, явившиеся предшественниками Константина Гамсахурдия в этом жанре.

«Десница великого мастера» — это было для меня утолением двойной жажды. Прежде всего, выражаясь фигурально, в форме романа я высказал мое *L'art poétique*. Кроме того, я показал великую Грузию в форме современного романа», — писал К. Гамсахурдия в послесловии к своему произведению. В этих словах как бы дан ключ ко всей его исторической концепции. Согласно заявлению автора, в «Деснице великого мастера» выражена та же народно-национальная концепция, которая питала исторический роман вообще. С ней же связано и изображение культурного прошлого Грузии, воспринимаемого в свете эстетических взглядов писателя. Собственно говоря, оба эти мотива — лишь разные стороны одной проблемы и их слияние вполне закономерно. Суть этой проблемы в освещении исторических событий в двояком плане: изображение богатого культурного прошлого по содержанию своему органически связано с характеристикой политической истории Грузии.

Подобное освещение исторической эпохи X—XI веков полностью основано на известных науке фактах. Действительно, для эпохи перехода от раннефеодальных отношений к позднефеодальным характерен резкий подъем национального самосознания. К этому времени полностью созрела идея единого национального государства, и в политике открылось поприще для таких носителей этой идеи, как Иоанн Марушидзе. Параллельно с процессом политического объединения шел процесс культурной консолидации, носящий ярко выраженный национальный характер. Государственное единство феодальной Грузии было подготовлено во всех отношениях. Началась новая эра грузинской государственности.

Историческая точка зрения К. Гамсахурдия совпадет с положениями современной историографии. Писатель относится к числу тех романи-

стов, которые в образы прошлого вкладывают сегодняшние проблемы и мысли, видя историю через их призму. Более того, в исторических романах К. Гамсахурдия очерчены некоторые такие философские, этические и эстетические вопросы, которые не существовали в средние века. Эта черта творчества и служит методом установления контакта истории с современностью. Даже описывая события глубокой древности, писатель не отрывается от нынешнего дня. История для него иногда превращается в художественный фон, но всегда — восстановленный с предельной точностью.

В «Деснице великого мастера» автор много внимания уделяет изображению средневековья, оживлению его специфического колорита. Изображенные в романе люди своими страстями, психикой, стремлениями отражают и представляют преимущественно свою эпоху (Фарсман Перс, католикос Мелхиседек), они живут художественно полноценной жизнью. В их природе и характере отражены социальные, политические и религиозные события и представления определенной эпохи.

Порою интерес писателя сосредоточивается, главным образом, на внутренней характеристике персонажа, например, царя Георгия или Арсакида. Фигуры эти для автора интересны сами по себе, хотя их значение и возрастает благодаря определенному историческому фону.

Так же, как ранее В. Скотт, К. Гамсахурдия обильно вносит в свои романы материалы из исторической географии, топонимики, этнографии, фольклора, народной медицины, языческих религиозных представлений, древнегрузинского календаря. Все эти богатые исторические реалии прошлого приведены в действие, оживлены в романе, создавая яркое представление о данной исторической эпохе.

В романе ярко, исторически точно и психологически убедительно изображены сложные грузинско-византийские отношения — отношения между небольшим народом, стоящим на пути политического и национального подъема, и огромной империей в зените ее могущества. Хорошо показана автором видимость добрых отношений, за которыми кроется напряженная борьба.

ба, а также религиозное единомыслие, будто бы определяющее отношения между двумя странами, но на деле непрочное и скрывающее истинную борьбу интересов.

Георгий I вел острую борьбу с внутренними врагами — сепаратистами и феодалами. В романе точно и убедительно показана эта борьба как с мирскими, так и с духовными феодалами. Характерен в этом отношении эпизод религиозной обструкции, устроенный Георгию его духовником. Множество эпизодов рисуют борьбу и с мирскими феодалами. Драматической канвой романа являются восстания в Пхови, выливающиеся в кровопролитные братоубийственные битвы. Несмотря на обширный показ соседних стран и отношений с ними, центр тяжести политической концепции романа находится на эти эпизоды междуусобной войны. И это, по словам самого писателя, не случайно, ибо внутриполитическое положение решает судьбу каждой нации, каждого государства.

Арсакидзе, зодчий, создавший кафедрал Светицховели, в романе — фигура, олицетворяющая грузинскую средневековую культуру, да и вообще художественную потенцию народа, так же как Георгий I — национально-государственное сознание. Тема Арсакидзе в произведении — это, по сути дела, тема искусства, творческого созидания, которая, вместе с народно-национальной концепцией, является основной в «Деснице великого мастера». Автор стремится образно раскрыть суть художественного творчества. Тема вечности искусства и апология труда приводят нас к теме морального бессмертия творца.

\* \* \*

Такая постановка вопроса, конечно, не претендует на научное обоснование или объяснение природы искусства. Тему «вечности искусства» в романе надо рассматривать в плане условном. Это художественно-метафорическое определение сущности искусства.

Именно так обрел бессмертие Арсакидзе — великий зодчий Светицховели. Собственную жизнь и личность он «языком камня» передал будущим

векам. С первого взгляда может показаться, что Арсакидзе превыше всего ставит свою профессию зодчего; свое искусство. Однако более верно было бы интерпретировать этот мотив иначе: он не ставит искусство выше всего (любви, жизни, карьеры...), а все это вкладывает в искусство, проявляет через искусство. Он, в конце концов, не жертвует жизнью ради искусства, а стремится отобразить свою богатую внутреннюю жизнь в искусстве, стремится к моральному бессмертию. В этом смысле он и является выражителем творческой одаренности родившего его народа.

В жанровом отношении роман отчасти является «любовной драмой». Трагическая любовь Арсакидзе и Шорэны разработана таким образом, что выражается в противопоставлении двух «стихий» — любви и искусства.

Две стороны жизни приходят в столкновение: либо любовь к Шорэне и участие в восстании пховцев против Георгия, либо зодчество и постройка Светицховели. Арсакидзе выбирает последнее. Он принимает свое решение по внутренней необходимости, по велению профессионального долга. Драматическая коллизия раскрывается с художественной убедительностью.

\* \* \*

Весьма интересно в романе К. Гамсахурдия описание народа.

Писатель хорошо знает, что изображение народа — неотъемлемая черта романа, тем более исторического. Только изображать его можно по-разному. Можно делать это, широко показывая народные революции, восстания и т. д., где роль и функции народа определены показом тех событий и дел, за которые он борется. Можно, наоборот, изображать народ, рисуя главного героя, который вышел из глубин народа и живет его интересами и чаяниями. Таков Константин Арсакидзе.

Мастерство К. Гамсахурдия проявляется и при описании батальных сцен. Это — любимая тема писателя. В батальных панорамах привлекает экспрессия, выдвижение на передний план пластической наглядности и, главное, массовость. В

них видна не только динамика действия, но и буйный дух восстания, мотивы и страсти, вызывающие столь бурные действия.

\* \* \*

Самый интересный характер в романе — Георгий I. Это наиболее сложный из всех героев «Десницы великого мастера». Художественный образ Георгия глубоко содержателен, красочен и полнокровен. Это цельный, волевой, энергичный и последовательный характер. Как известно, этот царь проявил такую страсть и энергию в борьбе с внешними и внутренними врагами, которые превосходили возможности маленького, еще не окрепшего государства Багратионов.

Однако царь обуреваем сомнениями. Путем самоанализа он приходит к заключению, что в основе некоторых его политических акций лежали честолюбивые побуждения или же любовные интриги (связанные с дочерью восставшего пховского епископа — Шорэной). Георгий, по роману, движим не только личными и интимными чувствами. Он прежде всего — крупный политик, искусный дипломат и хороший солдат. Но его политические интересы связаны с его человеческими недостатками и слабостями. Природная жестокость, честолюбие и любовная страсть — неотъемлемые качества этого государственного мужа. Отсюда — его рефлексия, скептицизм, меланхолия. Политика и нравственный кодекс у него расходятся. Любовь у него в конфликте с политической деятельностью, и этот конфликт является причиной его моральной противоречивости и раздвоенности. Георгий стремится достичь своих целей силой. Этим он противостоит в романе Арсакидзе, который всего добивается благодаря своим душевным качествам.

Романист достигает высокого мастерства и в обрисовке характера Фарсмана Перса. Рабочая комната Фарсмана похожа на кабинет Фауста. Его влечет наука, философия. Он такой же хороший металлург, как и дипломат, он может ходить босым по клинкам, но в то же время читает Георгию I лекции о Платоне. Он обновил Айа-Софию, но из трех его

проектов Светицховели ни один не оказался годным. Наконец, некогда непревзойденный воин Ал-Хакима, он погибает из-за того, что неудачно прочистил желудок царскому соколу. Фарсман Перс — авантюрист, завистливый интриган, на протяжении долгих лет странствий потерял любовь к жизни. На все, что он делает, он смотрит как на средство для существования и у него нет той вдохновенной любви к делу, без которой не может быть выполнена ни одна миссия. И в этом — он полная противоположность Арсакидзе.

Фарсман, Георгий, Мелхиседек, Шорэна и Арсакидзе не только сюжетно связанные персонажи, но и основные «составные» части главной проблемы романа, ее звенья. Они, вместе взятые, как бы объясняют эстетические воззрения автора, его понимание сущности и назначения искусства.

Образ католикоса Мелхиседека в романе, можно сказать, эпизодичен. Это правоверный церковник, ослепленный религиозным фанатизмом. Он не понимает политики Георгия I. Автор хочет показать, что религия, как одна из старых форм идеологии, ограничена в своих возможностях и односторонне тенденциозна.

Константин Арсакидзе является художественным воплощением основной темы романа — темы искусства. Она решается через личность художника. Биографическая скупость в обрисовке этого персонажа мотивирована и окупается значительностью основного его интереса — зодчества. Арсакидзе был пленником Георгия I, но никогда не стал его вассалом, он царский зодчий, но не придворный. От мелких придворных чувств он гарантирован благодаря высоким целям и художественным идеалам. Это более идеальный герой, чем, скажем, Георгий I, написанный в романе действительно реалистическими красками. Эта идеальность вызвана тем, что его, как человека, автор не наделяет никаким недостатком, это «герой без страха и упрека», без изъяна. Автор задумал изобразить художественного гения таким образом, чтобы в фокусе внимания была его духовная одаренность, художественное вдохновение, творческие устремления, а практическая, повседневная сторона его личности оста-

лась в тени или была некоторым образом стушевана. Сложность, многосторонность или противоречивость характера заменены в образе Арсакидзе драматизмом его участия. Он — жертва своего жестокого времени. По словам автора, он хотел показать «обреченность художника в тираническом государстве».

Как видно из эпиграфа романа, мотив отсечения руки Арсакидзе основан на распространенных народных преданиях о завистливой вражде между мастером и его учеником. Этот фольклорный мотив не раз рассматривался в специальных исследованиях, где отмечалось, что он является народным переосмыслением того факта, что на фасаде церковных строений изображена рука мастера. К. Гамсахурдия в романе творчески свободно обращается с этим материалом. Отсечение руки Арсакидзе у него не связано с фольклорным вариантом: руку мастера в романе отсекают, но не изображают на здании. Из упоминаемой в прологе романа легенды писатель использовал только основной ее момент — «наказание» зодчего.

Среди главных персонажей романа Шорэна второе, после Фарсмана, исторически неизвестное лицо. Как и Константин Арсакидзе, это идеализированный художественный образ. Образам Шорэны и Арсакидзе до некоторой степени не хватает индивидуализации. Эти персонажи выглядят более романтично по сравнению с прочими действующими лицами. Шорэна привлекает женственностью, красотой. Ее душевная драма — это любовная драма. Сходство этих двух художественных образов автор подчеркнул сходством их судеб. Шорэна

становится жертвой своего призыва, так же как и Арсакидзе. Ее образ связан с главной темой произведения. Любовь в нем — самый могущественный двигатель жизни, стимул созидающего начала. На такой мировоззренческой базе романист создает острую, полную конфликтов психологическую драму. Труд Арсакидзе вдохновлен, и он приносит себя в жертву своему долгу — зодчеству. Шорэна — жертва своей большой любви к Арсакидзе. Но по ходу действия романа между ними незыблевой стеной встает строящийся Светицховели. Долг строителя и творца берет верх над чувством к любимой девушки. Сознавая эту роковую трудность, Шорэна обращается к Арсакидзе со следующими словами: «Не для того я пришла к тебе, Ута, чтобы требовать жертвы. Я и без слов знаю, что ты не можешь этого сделать. Я бескорыстна в своих чувствах. Никогда не любила я ради того, чтобы требовать взаимности за свою любовь. Я хорошо понимаю, какую высокую стену воздвигла между нами судьба, каменную стену, высотой с Светицховели».

\* \* \*

«Десница великого мастера», в основном, написана как современный реалистический роман. Композиция его проста, ясна и компактна. Достоинством произведения является эпичность повествования, беспристрастная передача событий. С эпическим характером романа хорошо сочетаются истинный лиризм и эмоциональность, поэтичность отдельных образов.

Г. Бебутов

## Александр Калюжный—друг Максима Горького

К 70-летию публикации рассказа „Макар Чудра“

Даже больше, чем друг. Горький сам не раз называл его с душевной теплотой другом и учителем своим. В 1900 году он писал Калюжному: «...я прекрасно помню все пережитое с Вами и никогда не забывал, что именно Вы первый толкнули меня на тот путь, которым я теперь иду». А через год: «Сегодня исполнилось 9 лет с той поры, как напечатан был мой первый рассказ. Это случилось благодаря Вам, Александр Мефодиевич... поверьте, что едва ли есть день моей жизни, в который я не вспоминал бы о Вас».

Как эти, так и другие обращенные к Калюжному письма Горького, заканчивающиеся словами «друг», «учитель», прошли проверку временем. Спустя четверть века, в 1925 году, Алексей Максимович пишет из Сорренто Калюжному:

«Дорогой друг и учитель мой, Александр Мефодиевич!

С той поры, как я, счастливо для себя, встретился с Вами, прошло тридцать четыре года; с того дня, как мы виделись второй и последний раз,— истекло двадцать два года.

За это время я встретил сотни людей, среди них были люди крупные и яркие. Но — поверьте! — никто из них не затмил в памяти сердца моего Ваш образ.

Это потому, дорогой друг, что Вы были первым человеком, который отнесся ко мне воистину по-человечески.

Вы первый, памятным мне, хороши взглядом мягких Ваших глаз,

взглянули на меня не только как на парня странной биографии, бесцельного бродягу, как на что-то забавное, но — сомнительное.

Помню Ваши глаза, когда Вы слушали мои рассказы о том, что я видел, и о самом себе. Я тогда же понял, что перед Вами нельзя хвастаться ничем; и мне кажется, что благодаря Вам я всю жизнь не хвастался собою, не преувеличивал моей самооценки, не преувеличивал и горя, которым щедро напоила меня жизнь.

Вы первый, говорю я, заставили меня взглянуть на себя серьезно.

Вашему толчку я обязан тем, что вот уже с лишним тридцать лет честно служу русскому искусству.

Я рад слушаю сказать Вам все это на людях, — пусть знают, как хорошо отнеслись к человеку человечески сердечно.

Старый друг, милый учитель мой, — крепко жму Вашу руку.

Алексей Пешков — М. Горький».

Это письмо, написанное с присущей Горькому поразительной силой портретной характеристики, правдиво показывает светлый облик Калюжного.

За несколько лет до смерти Александра Мефодиевича мне было поручено редакцией газеты записать его воспоминания о пережитом, о встречах с Горьким. Помню доброе лицо Калюжного, прикованного недугом к постели, его особенные глаза, светившиеся мягким юмором и тем внутренним сиянием, какое бывает у человека, отдавшего людям много

душевной теплоты и поэтому удовлетворенного прожитыми годами.

Он начал свой рассказ с самого раннего детства, проведенного в Полтаве. Гимназические и студенческие годы прошли в Харькове. В университете произошли первые его столкновения с властью имущими. Образно и картино обрисовал он свое «хождение в народ». За этим последовали: аресты, тюрьмы, суд, долгий этапный путь, каторга, ссылка.

О встречах с Горьким он рассказывал подробно, но не останавливалась на мелочах и несущественных деталях. Когда речь зашла о письмах Горького, Александр Мефодиевич смущенно, как бы в чем-то оправдываясь, сказал:

— Алексей Максимович часто повторял это слово «учитель». Но я думаю, что его благодарность ко мне выражена в таких теплых словах, идущих от широкой души, именно потому, что я первый сказал ему: «Пишите, ведь Вас будут читать тысячи, а Вы все рассказываете на людях». А то смешно было бы, конечно, ни с того ни с сего назвать меня учителем. Какой же я учитель такого большого художника.

Неподдельная искренность и скромность в этих словах. Таким был Александр Мефодиевич в жизни.

В ноябре 1925 года, когда исполнилось тридцать пять лет со дня его поступления на службу в Управление Закавказской железной дороги, группа сослуживцев обратилась в Объединенный местком профсоюза с предложением занести имя А. М. Калюжного, как героя труда, на Красную доску. При этом была дана такая характеристика: «Скромный, трудолюбивый работник, совершенно лишенный всякого карьеризма... За все время своего руководства младшими товарищами Калюжный никогда не проявлял начальнического гонора, оставаясь всегда чутким и отзывчивым старшим товарищем и учителем»<sup>1</sup>.

Не случайно, что уже в другую эпоху, при других обстоятельствах, и другие люди называют Александра Мефодиевича старшим товарищем и учителем. Видимо, он действитель-

но был человеком такого склада души, что не найдешь для него других всеопределяющих слов, кроме ~~одинаковых~~ <sup>одинаковых</sup> и учитель.

Когда и с чего началась дружба Горького с Калюжным? Они познакомились и сблизились в Тбилиси, в новом для обоих городе. Калюжный прибыл в Тбилиси 15 октября 1890 года, отбывая с 1885 года политическую ссылку. Пешков пришел в ноябре 1891 года после долгих странствий по России.

До приезда в Тбилиси Калюжный пять лет жил в Томске, где ему удалось устроиться на службу в Статистическом управлении. В связи с открытием в Томске университета всем ссыльным, осевшим в этом городе, было предписано выехать в место нового «прикрепления». И хотя у ссыльных никакой связи со студенчеством в то время не было, власти все же решили сначала «очистить атмосферу», а уже затем разрешить набор студентов. В переезде в Тбилиси Калюжному помог В. Короленко, снабдивший его семьью, состоявшую из пяти душ, проездными билетами. Александр Мефодиевич ни к кому не обращался за помощью и предлагал, что тот сделал это по просьбе Станюкова, чутко относившегося к своим друзьям по ссылке.

Некоторый опыт в области статистики, приобретенный в Томске, помог Калюжному быстро устроиться на службу. 23 октября 1890 года он поступил счетоводом в отдел коммерческой статистики Управления Закавказской казенной железной дороги. Но не все гладко обстояло с поступлением на службу. Как рассказывал Калюжный, заведующим статистикой был Дробный. Он знал Александра Мефодиевича, но боялся принять на работу. Тогда вмешался служивший у него старшим счетоводом Михаил Яковлевич Началов. Он сказал Дробному: «Ведь терпит же начальство меня, поднадзорного. Я пошутою об увольнении — примите Калюжного». После этого Дробный пошел с докладом к начальнику дороги, и дело устроилось. Но вопрос зависел не только от начальства. За Калюжным, как выясняется по архивным документам, со дня его приезда в Тбилиси, независимо от гласного надзора, было установлено еще секретное наблюдение. А через год

<sup>1</sup> Архив Закавказской железной дороги. Личное дело А. М. Калюжного (№ 8451).

полицмейстер даже требовал «выдворить» Калюжного в какой-либо заштатный городок Кавказа! Дробный мог обо всем этом не знать, но он понимал, что если учесть еще Я. Данько, то слишком много поднадзорных (вместе с ним самим) подобралось в одном отделе.

М. Я. Началов, принявший горячее участие в судьбе Калюжного, был тем самым «единственным в городе знакомым человеком», которого называл на допросе в полицейском участке задержанный в первый день пребывания в Тбилиси Алексей Максимович Пешков. После того, как Началов удостоверил личность своего нижегородского знакомца, Пешкова отпустили. Алексей Максимович поселился у Началова, затем перешел к Данько. Так получилось, что многие из тех, с кем общался в Тбилиси Горький (Началов, Данько, Балдин, Афанасьев, Читадзе, Флеров, Джабадари и другие), были в то же время знакомыми Калюжного. Это был круг людей, которых называли «политическими», независимо от того, ходили ли они на свободе или сидели в тюрьме, занимались практической революционной работой или только посещали негласный кружок — сообщество единомышленников. Несомненно, что Калюжный уже в первое время пребывания Пешкова в Тбилиси слышал о нем от друзей, а потом познакомился с ним.

Александр Мефодиевич рассказывал:

— Началов, с которым я сблизился, однажды познакомил меня с безвестным тогда Пешковым. Алексей Максимович, приедя осенью 1891 года в Тифлис, устроился на службу с помощью наших железнодорожников. Позднее он с радостью воспользовался предложением поселиться в моей квартире, в одной из трех комнат, пока семья моя находилась на даче. Он перешел ко мне летом и жил в течение июня, июля и начала августа 1892 года. Одну комнату занял у меня Н. М. Флеров, корректор газеты «Кавказ».

Долгие вечера проводили Калюжный и Пешков в беседах.

Однажды Алексей Максимович попросил Калюжного рассказать о его «хождении в народ».

В мае 1874 года, когда студентов распустили на каникулы, Александр

Мефодиевич поехал вместе с товарищем своим Ольховским в имение Фомичевой на Полтавщине. Помещница не жила в усадьбе. Она пришла слушивалась к новым веяниям и сама предложила Калюжному поехать в деревню: пусть, дескать, познакомится с крестьянами, убедится, что их не сдвинуть. Такое приглашение обрадовало студентов, и риску было меньше, а то уже начались тогда политические процессы.

В деревне Калюжный пошел знакомиться с крестьянами. Косил с ними в поле, читал им «Сказку о четырех братьях», «Хитрую механику. Правдивый рассказ, откуда и куда идут деньги» и другие книжки. «Сказка» затрагивала основы государства, но крестьяне не удивлялись ее содержанию. Калюжный настолько расположил к себе крестьян, что они стали предлагать ему: женись на нашей и живи с нами. А он отвечал: не придется мне жить у вас, надо идти в другие места.

Вскоре по доносу помещика — владельца соседнего имения — Калюжного арестовали. Становой и исправник были еще неопытны в таких делах и не произвели обыска в комнате, в которой жил Калюжный, а только наложили печать на дверь. Когда крестьяне узнали об аресте студента, то залезли через окно в избу, забрали все книжки и, что самое главное, не уничтожили их, а зарыли в землю.

Последнее Горькому очень понравилось: значит, ценили, понимали толк в книжках!

Совершенно в иной обстановке знакомился с народом Алексей Максимович, и взгляды его отличались от взглядов Калюжного, но он уважал своего старшего друга, отмечал его умение распознавать людей.

Как вспоминал Калюжный, Горький в долгих беседах с ним не рассказывал о том, что пришлось ему претерпеть в жизни, и биографии своей почти не касался. Больше говорил о путешествии по стране, о картинах жизни, о народе.

Интересные люди встречались и Калюжному на жизненном пути, и Горький внимательно слушал его рассказы о них.

В кружке Калюжный познакомился с Желябовым; в Мценской тюрьме — с литераторами Павленковым и Анненским, следовавшими в Тоболь-

скую губернию; в Иркутской тюрьме у Калюжного была встреча с Паниным, которому Короленко читал свои новые рассказы; в Томске — близкое знакомство со Станюковичем.

Некоторые из названных Калюжным имен были не только знакомы, но и близки Горькому. Он писал позднее: «Два человека были для меня в ту пору «настоящими» — В. Г. Короленко, который всегда знал, что надо делать, и говорил о трудных делах жизни со спокойствием стоика, и Н. Ф. Анненский, чья духовная бодрость действовала благотворно на меня, переживавшего в ту пору весьма тяжелые дни».

Так, в беседах, возникали новые и новые точки соприкосновения, но все же слушателем чаще оказывался Калюжный.

— Он был хорошим рассказчиком, — говорил Калюжный о Горьком, — картино и неподражаемо ярко передавал свои наблюдения, но лишь то, что складывалось в интересный эпизод. О мелочах не упоминал, больше касался живых, непосредственных впечатлений, творческими же темами и планами ни с кем не делился. Это все зрело в нем самом. Когда беседы наши оживлялись воспоминаниями, я часто твердил ему: «Пишите, пишите вот так, как рассказываете, и у вас будут тысячи читателей». Это говорилось вообще, относительно всех его воспоминаний, наблюдений.

Существовали версии, будто бы Калюжный, однажды заперев Пешкова в комнате, сказал: «До тех пор, пока не напишите рассказ, — не выпущу!» Говоря об этой небылице, Александр Мефодиевич заметно волновался. Он не мог быть равнодушным к неправде.

— Ничего подобного в жизни не было, — сказал он. — Я даже не спрашивал Алексея Максимовича, когда видел, что он сам не хочет рассказывать. Единственное, что я внушил Горькому, — это уверенность. Человек он был не робкий, но уверенности в своих силах у него тогда не было, потому что не было и серьезного творческого опыта... Пешков тяготился тем, что ему не пришлось получить систематического образования. Я успокаивал, говорил: «Вы больше приобретете на своем пути благодаря сво-

им способностям». Ведь мы тогда разбивались помимо школы.

О создании Максимом Горьким первого своего рассказа Калюжный говорил очень коротко. Я записал его слова:

— Тему «Макар Чудра» Горький долго носил в мыслях. Нечто подобное он рассказал мне однажды, но произведение получилось богаче и глубже.

Конечно, не один только Калюжный обратил внимание на писательские способности безвестного тогда Пешкова, многие восхищались его замечательным даром рассказчика, а некоторые усиленно советовали начать писать.

Как передают современники, Эгнатэ Ниношвили, с которым познакомили Алексея Пешкова, своим писательским чутьем угадал в новом друге большое дарование и душевно напутствовал: «Напиши то, что ты так хорошо рассказываешь...»

Между тем Алексей Максимович уже имел немало занесенных им на страницы тетради стихотворений, преимущественно лирических.

А. М. Калюжный подтверждает это в своих воспоминаниях:

— Стихи ему удавались, отличались музыкальностью. Одно стихотворение Алексей Максимович посвятил Тренюхиной — девушке, работавшей в библиотеке О. Кайдановой, — и понес ей, не показав мне. Помню еще стихотворение на революционную тему, оно касалось русской молодежи. Понес я его Флерову. Он прочел и восхликал: «Да это же Леопарди!» У Пешкова была тетрадь, заполненная стихами. Он ее никому не показывал. «Это, — говорил, — пустяки».

И все же Алексей Максимович понес несколько стихотворений в редакцию газеты «Новое обозрение». Они не были напечатаны, но позднее, в 1901 году, редактор этой газеты Г. Туманишвили писал М. Горькому: «...Позвольте рассказать Вам историю двух Ваших стихотворений, которые при этом посылаю. Они были переданы в нашу редакцию несколько лет тому назад одним из Ваших знакомых (а может быть, и Вами лично) и по оплошности нашего секретаря не были напечатаны. Разбирая на днях архив редакции, я нашел эти стихотворения. Они мне хоть и понравились очень, но не решился я напечатать их без Вашего нового разрешения». И спрашивая

далее разрешение на опубликование стихотворений. Туманишвили заключает: «Ответ Вы можете написать или прямо мне, в редакцию «Нового обозрения», или через г. Калюжного, Ва-шего хорошего знакомого»<sup>1</sup>.

Может быть, именно потому потянуло молодого Горького после стихотворных опытов к прозе, что он в то время много и увлекательно рассказывал Калюжному и другим о жизни и своих впечатлениях. Так или иначе, первый рассказ был написан и появился в газете «Кавказ».

Об этом вспоминает Калюжный: «С рассказом «Макар Чудра» Алексей Максимович пошел в редакцию один. Я только предупредил журналиста В. Д. Цветницкого, что в лице Пешкова он встретит интересного человека. Испевдоним себе Алексей Максимович придумал сам. Потом он говорил мне: «Не писать же мне в литературе «Пешков».

Встретившись с Горьким на улице, уже после того, как рассказ был напечатан, Владимир Дмитриевич Цветницкий обнял, расцеловал его и сказал: «Пишите»... И при мне потом повторял: «Он может писать, может писать». Я на это ответил ему: «Писать-то может, но ведь все это не для газеты». Вскоре мои слова подтвердились. Вторая вещь Горького из жизни одной девушки была отвергнута. Со мной Алексей Максимович о ней не говорил. Написал и сам понес в редакцию. О неудаче я узнал от Цветницкого».

Упомянутая Калюжным вторая вещь — поэма «Девушка и Смерть». Таким образом, за первой удачей последовала неудача, — как-никак газета «Кавказ» — официоз!

Вскоре после опубликования рассказа «Макар Чудра» Алексей Максимович расстается с тбилисскими друзьями и уезжает в Нижний, уже будучи Максимом Горьким.

Позже он вспоминает: «...наконец однажды вдохновился, нечто смело написал, робко снес в редакцию, меня благосклонно напечатали, мне это понравилось, я решил остановиться на этом труде...» Эти воспо-

минания как бы продолжаются строками из автобиографической заметки: «Переехав в Нижний, я ~~я~~ <sup>понробовал</sup> писать маленькие рассказы для газеты «Волжский Вестник».

После отъезда из Тбилиси А. М. Горький не порывает связи с Калюжным, пишет ему письма, посыпает книги, свой портрет.

Александр Мефодиевич продолжает работать в Управлении железной дороги. Его переводят на должность делопроизводителя коммерческой статистики, а в 1896 году за «усердную и полезную службу» повышают жалованье.

К тому времени срок ссылки Калюжного окончился (на четыре года ранее установленной даты), но негласное наблюдение за ним продолжалось. В 1898 году жандармский ротмистр Конисский, который вел «дело» о Максиме Горьком и других членах «преступного сообщества», вызвал Калюжного на допрос. Вот как об этом рассказывал Александр Мефодиевич:

«Однажды за мной явились жандармы: требует к себе ротмистр Конисский. Привели к нему на квартиру.

— Вы Калюжный?

— Да.

Ротмистр отрекомендовался. Допрос продолжался минут десять, без записи показаний.

— Вы знакомы с Максимом Горьким? — было первым его вопросом.

Я обратил внимание на то, что ротмистр говорит «Горький», а не «Пешков».

— Как же, знаю! Но в чем дело?

— Видите ли, он замешан в политическом деле, — испытывающее продолжал Конисский.

— Никакой политики за ним не знаю. Мне известно лишь то, что это высокоталантливый писатель, которого Россия должна беречь.

Тогда ротмистр взял с полки книжку Горького и показывает мне, вот, мол, и я с ним знаком.

На этом закончился этот легкий допрос, и ротмистр проводил меня с вежливой улыбкой до двери.

С этим «делом», как известно, жандармский чиновник сел в лужу.

О том, что Горького привезли в 1898 году из Нижнего и заключили в Метехскую тюрьму, я ничего не слышал. Не встретился я с ним и

<sup>1</sup> Впервые это письмо приведено Вано Шадури в статье «Новые материалы о связях А. М. Горького с деятелями грузинской культуры», газета «Заря Востока», 27 марта 1958 г.

после того, как он был выпущен. Видимо, его выслали из Тифлиса под особым надзором».

О слежке за самим Калюжным рассказывают теперь архивные документы. Вот что писал своему начальству жандармский штабс-ротмистр Спиридович: «Летом 1901 года фильтер, наблюдавший шедшего с одним знакомым Калюжного, был замечен последним и, благодаря предпринятой Калюжным уловке, два раза был провален, причем Калюжный со своим спутником смеялся в лицо фильтеру».<sup>1</sup>

Здесь сказалась старая сноровка революционера, прошедшего тюрьмы, катаргу и ссылку.

Только с установлением Советской власти в Грузии Калюжный обрел новую, полноправную жизнь.

В декабре 1922 года служебное начальство Калюжного поднимает вопрос о назначении ему специального оклада и мотивирует это приобретенными им «исключительными знаниями и опытом», энергичным и преданным отношением его к любимому им делу и той «громадной пользой», которую он «приносил и продолжает приносить» Закавказским железным дорогам.

Его называют «редким специалистом» и 16 января 1923 года назначают на должность помощника начальника экономической службы. Фактически он становится руководителем отдела.

22 марта 1924 года А. М. Калюжный, как и все остальные служащие, заполняет «Анкету для всех работающих на железных дорогах

Советских социалистических республик Закавказья».

Вот некоторые вопросы анкеты и ответы на них Калюжного:

Где находился и что делал с 27 февраля по 25 октября 1917 года? — С 1890 г. безвыездно жил в Тифлисе и служил на Закавказской железной дороге, где служил и до сего дня.

Был ли под судом? — В 1880 году судился в военном окружном суде в Харькове.

К чему присужден был к каторге на 6 лет.

Убеждения. — Социалист с гимназической скамьи, с юных лет изучал Карла Маркса.

Не улучшились ли твои условия при Советской власти (в чем разница)? — С общим экономическим улучшением улучшились.

В том же году в Аттестационную карточку Калюжного вносится характеристика: «Работник с широким умственным кругозором, с большой инициативой. В статистике является незаменимым работником. Возраст не отражается на способности быстро и вдумчиво работать».

Но самая дорогая сердцу Калюжного характеристика содержалась в приведенном выше заявлении его сослуживцев в Объединенный местком профсоюза: «...К этому же времени относится его знакомство с Максимом Горьким, который многим обязан ему».

В одном из своих ранних писем к А. М. Горькому Калюжный писал: «Теперь я буду радоваться, что еще, может быть, целые годы моей жизни будут озаряться Вашею дружбой». И он не ошибся. Эта дружба согревала своим теплом Александра Мефодиевича до последних дней его большой замечательной жизни.

<sup>1</sup> ЦГИАМ. ДПОО, д. 5, ч. 52, лит. 8, л. 32—37.



Маргарита Дондуда

## К. Бальмонт на уроках грузинского языка

Грузинская учащаяся молодежь, с которой в бытность мою в Москве мне приходилось соприкасаться, ценила Бальмента особенно как переводчика «Венхисткаосани» (имеется в виду издание 1917 г.)

Бальмонт посещал традиционные вечера, устраиваемые в Москве грузинским обществом, читал лекции, выступал со своими стихами.

На одном из таких вечеров мы оказались втроем — К. Бальмонт, студентка-юристка Кетевана Чигогидзе, близкая знакомая поэта, и я, недолго перед тем приехавшая из Кутаиси в Москву.

Во время беседы К. Бальмонт высказал желание иметь подходящего руководителя для изучения грузинского языка.

Кетевана Чигогидзе тут же указала на меня, поскольку я давала частные уроки, репетировала, учительствовала в школах Кутаиси.

Бальмонт принял рекомендацию. Он с увлечением отдавался каждому уроку. Его приводило в неописуемый восторг благозвучие грузинского языка, грузинского стиха. Бывали случаи, когда он прерывал урок и начинал повторять про себя какое-нибудь слово или фразу, потом просил извинения и снова возвращался к занятию. Случалось и так: музыкальность и благозвучность грузинского стиха увлекали его настолько, что он готов был без конца продолжать урок. Однажды его так захватило стихотворение И. Гришашвили, что он воскликнул: «Чертовски хорошо!».

Одно место из этого стихотворения он заучил наизусть и на следующем занятии пожелал сдать его как за-

данный урок. Он не ошибался в самом стихе, но произносил некоторые звуки неправильно. После моего указания он повторил стихотворение несколько раз, чтобы правильно произнести каждый, трудный для произношения звук. Его восхищало сгромождение (как он выразился в своей книге) согласных звуков в грузинских словах. Он говорил: «Красивые русские слова: горнило, наковальня, рокот — через сгромождение звучных согласных делаются еще красивее и еще звучнее, возникая в горных тесинах грузинской речи...»

Иной раз он с увлечением делился со мной впечатлениями, вынесенными из Грузии. Как-то вспомнил и процитировал народное предание про царицу Тамар; в конце воскликнул: «О Тамар, царица семи царств! Тебе подвластны барсы гор». Как известно, Руставели он сравнивал с Данте, Петраркой, Микельанджело. Он говорил: «Певучее имя Руставели мне кажется наиболее справедливо вознесененным».

Занятия наши проходили в тяжелых условиях гражданской войны. В ледяной моей комнате закутанный в пальто, в галошах Бальмонт, забывая о холодах, с рвением примерного школьника учил грузинскую фонетику.

Когда он вникал в смысл каждого слова, улыбался, убедившись в смысловом значении правильного произношения звука. Правильности произношения (положение языка, губ и т. д.) поэт уделял много времени.

Бальмонт собирался во Францию. Наступило время отъезда. Наши занятия прекратились. Я зашла к нему

на квартиру, чтобы попрощаться. Он встретил меня приветливо, пригласил в комнату и, позвав свою жену, представил меня: «Познакомьтесь. Грузинка из Кутаиси».

В своей рабочей комнате Бальмонт подвел меня к молодому человеку, который укладывал книги, и представил: «Сандро, будьте знакомы, грузиночка, поэт Маргарита Дондуа». Мы пожали друг другу руки.

Подобная рекомендация удивила меня и смутила. Улучив удобный момент, я спросила Бальмонта — не подумал ли молодой человек, что я в самом деле поэт. На это он ответил: «Я знаю, милая, что говорю! Вы — поэт, поэт в душе, как и почти все грузины».

До отъезда в Париж Бальмонт подарил мне свою книгу под названием «Любовь» с надписью-посвящением.

К. Бальмонт был очень пунктуальным человеком. Он ни одного урока не пропускал без уважительной причины. Однажды даже прислал через свою жену письмо, в котором сообщал причину неявки на урок:

«Милая, мне завтра необходимо поехать в Новогиреево, увы, не смогу к вам прийти, как мы условились, ибо вернусь лишь ночью.

Приду к вам в среду, часов в 8.

Если это вам неудобно, известите, когда к вам придети.

К. Бальмонт

Как я уже говорила, Бальмонт часто выступал с лекциями на грузинских вечерах. Его выступления всегда отличались простотой, искренностью. Он вносил большое оживление и веселье.

На одном из традиционных вечеров, устроенном в честь св. Нины, К. Бальмонт произнес экспромтом стихотворение:

Я думал: тверд я, как рубин,  
Как дуб, как имя Константин.  
Но пред грузином и грузинкой  
Я таю нежною снежинкой.  
Теперь уж времена не те —  
Не Константин я, а Котэ.

Он усердно занимался изучением грузинского языка, чтобы ближе подойти к Грузии, к родине любимого им Шота Руставели.

Из грузин-студентов особенно близок был к нему Тициан Табидзе. Часто можно было их встретить вместе в театрах и других общественных местах.

Поэт искренне, бескорыстно относился к Грузии, и его любовь, которую он питал к ней всю жизнь, я думаю, вылилась в осуществление его заветной мечты — полный перевод и издание «Вепхисткаосани».





Вахтанг Модебадзе,  
заместитель управляющего  
«Самтреста»

## Как родилась и выросла грузинская лоза

Живет в нашем народе веселая пословица-загадка: «Кто родился раньше — грузин или виноградная лоза?» Думаю, почти каждый знает ответ на нее. Но в самом деле — кто?

Прежде всего — короткая справка: в нашей республике насчитывается около пятисот сортов винограда. Все они резко различаются по качествам и свойствам, и получаются из них всевозможные вина — от самых простых до всемирно известных. Уже это обстоятельство дает право полагать, что Грузия одна из древнейших винодельческих стран. Но где, в какой точке земного шара все-таки родилась виноградная лоза?

Древние барельефы рассказывают: очень давно виноделие было распространено в странах средиземноморского бассейна — например, у египтян. Но те же раскопки показывают, что виноделием издавна занимались грузины и армяне.

Видимо, приходится считать: цивилизация не экспортировала виноделие из какой-либо одной страны по свету — оно родилось и развивалось в разных странах самостоятельно. В пользу этого свидетельствует и еще одна интересная деталь — квеври, обыкновенный квеври, громадный кувшин, который и

сегодня зарыт во дворе каждого грузинского крестьянина. Почти такие же кувшины найдены также в небольшом количестве в Италии, Испании, Румынии. И, наконец, самое убедительное и неопровергнутое доказательство самобытности грузинского виноделия — это специфичность его технологии.

Можно даже пойти на такое смелое обобщение: в мире существует лишь два основных способа производства вина — европейский и кахетинский. С своеобразным «промежуточным звеном» между ними можно считать способ имеретинский.

С древних времен кахетинцы выделяли вино так: раздавив виноградную кисть, они ставили на брожение всю так называемую мягу — то есть мякоть, кожуру, косточки вместе. И вина получались экстрактные, «полные», содержащие много различных питательных веществ, обладающие хорошим вкусом. Этим высоким достоинством вина способствовали и квеври.

Квеври хранится в земле. Это ускоряет процесс «осветления» вина; иначе говоря, вино быстрее становится прозрачным. Такой способ хранения имеет и другое, пожалуй еще более важное, достоинство — он до минимума сводит колеба-

ния температуры, которые очень плохо влияют на качество вина. И, наконец, форма квеври. Выработанная, должно быть, народным опытом столетий, она тоже помогает вину сделаться лучше и лучше сохраняться.

Во всех других странах мира вино изготавливается европейским способом. После давки винограда становится на брожение не вся мякоть, а лишь отобранные сусло — от мякоти, кожуры, косточек и т. д.

Говорить о преимуществе одного способа перед другим — трудно. Я полагаю, ясно: каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. В данном случае для нас важно то обстоятельство, что резкая специфичность кахетинского способа изготовления вина говорит о глубокой самобытности искусства древних грузинских виноделов.

Так было много веков. Но теми же путями, какими народы, сближаясь, делились своими ценностями в разных областях культуры, техники, производства, произошло и сближение двух методов производства вина.

Проникновению европейской технологии в Грузию способствовала... поэзия. Точнее — один из ее блестящих представителей, основоположник грузинского романтизма, Александр Чавчавадзе.

Участник Великой Отечественной войны 1812 года, он был среди тех, кто вошел в Париж. Должно быть, именно тогда знаток и ценитель вин познакомился с европейским способом изготовления вина. Во всяком случае, вернувшись на родину, Александр Чавчавадзе привез с собой и опыт французских виноделов.

Грузинские вина издавна славились во всем мире — своим вкусом, сладостью, игристостью. О них с восхищением писали наши гости — Шарден, Страбон и другие.

А теперь, в имении Александра Чавчавадзе, появились гости — известные европейские специалисты Мессано и Жоффрие. Они приехали не только с тем, чтобы восхищаться нашими винами, а чтобы помочь грузинскому князю организовать в своем имении виноделие по европейскому способу.

Новые типы вин быстро прославились. Такое же направление дал

своему хозяйству Багратион-Мухранийский. Приготовленные новым способом вина, такие как «Мукузани», «Цинандали», «Напареули» и другие стали чрезвычайно популярны и за рубежом. Больше того, они ценились значительно выше, чем многие европейские вина.

Крестьянам было трудно. Для производства вина европейским способом необходимы бочки. А бочки стоили дорого... Поэтому массовое распространение европейский способ виноделия получил в Грузии только в годы Советской власти. Но об этом — ниже.

Полвека назад грузинское винодарство и виноделие пережили тяжелый кризис. Первая мировая война, среди неисчислимых бед, принесенных человечеству, ударила и по нашему виноградарству.

Из Америки в Россию, главным образом в Одессу, шли многочисленные суда. Они-то и завезли к нам, из Одессы в Сухуми, Поти, Батуми филлоксеру и другие грибковые заболевания винограда: **мильдию** и **ойдиум**. Ни одна из этих болезней прежде не была известна в Грузии.

Распространители этих болезней оказались весьма ретивы — за какие-то пять лет они охватили Абхазию, Гурнию и добрались до Кахетии.

Началась борьба. Постепенно грузинские виноградари познакомились с применением серы и медного купороса, с прививкой местных сортов винограда на филлоксероустойчивые.

Новая агротехника положила начало восстановлению виноградников, и, естественно, новому подъему виноделия. А установление Советской власти, рождение к жизни могучего хозяйства колхозов, возросшая роль науки в земледелии сделали не, обходимым создание **теории** виноделия.

Одним из первых грузинских виноделов-теоретиков был кварельский житель Джорджадзе. Он жил в девятнадцатом веке и сделал для нашей винодельческой науки очень много.

В начале нынешнего века в Грузии\* появились первые подлинно научные теоретики по вопросам виноделия. Они заложили основы грузинской национальной школы вино-

делия, создали много ценных теоретических трудов и вырастили новое поколение специалистов-виноделов. Среди них — академик С. Дурмишидзе, профессора Г. Беридзе, А. Лашвили и другие.

Много людей в течение веков растило и лелеяло грузинскую лозу. В наши дни виноградарство достигло небывалого расцвета.

Мы стали реконструировать старые и строить новые винные заводы, закладывали ежегодно тысячи гектаров новых виноградников, развивали теорию виноделия.

Прежде в Тбилиси не было ни одного винного разливочного завода. Сейчас их четыре. Последний вступили в строй совсем недавно. Его мощность — до миллиона декалитров в год. Во всем мире славится шампанское, изготовленное в столице нашей республики. Наш завод дает до семи миллионов бутылок искрящегося вина каждый год. Работают в Тбилиси коньячный и ликероводочный заводы.

Если я назову Гурджаанский, Телианский, Напареульский, Зестафонский, Кистаурский, Кварельский винные заводы, то это будет отнюдь не полный перечень предприятий, построенных за годы Советской власти.

Наши виноделы вывели новые марки вин. Новая марка — это вино, изготовленное на давно известном материале, но обладающее новыми органолептическими свойствами, по-просту говоря — новым вкусом.

Это — полусладкие «Ахашени», «Ахмета», «Псоу», «Лыхны».

А как добиться этих новых свойств?

Вино бродит и теряет процент сахаристости. Остановить брожение в определенный момент — значит сохранить сладость или, наоборот, потерять ее. Чтобы уловить момент, угадать его, надо быть большим мастером.

Я думаю, не будет преувеличением сказать, что виноделие — вообще сложное и вдохновенное искусство.

А винодел — это человек, который носит в голове комплекс разнообразных знаний, в руках — мастерство и чуткость, во рту — безупречный вкусовой аппарат, в сердце — энтузиазм и любовь к своему труду.

У нас есть такие люди, и благодаря им Грузия — одна из первых в мире по виноделию.

В 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе «Самтрест» был награжден Большой золотой медалью. Почти все марочные и полусладкие вина, шампанское и коньяки нашего производства награждены золотыми и серебряными медалями на международных выставках и дегустациях.

Думаю, понятно, почему виноделы мира выбрали местом своего десятого конгресса столицу нашей республики.

...И, конечно, может быть только один ответ на загадку, которой я начал рассказ: «Грузин и лоза родились вместе!»

Тенгиз Хоштария

## О настоящем и будущем виноделия

«Цинандали», «Телиани», «Гурджаанис», «Мукузани», «Напареули», «Хванчкара»... Эти и многие другие названия грузинских вин широко известны не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

Неповторимый аромат грузинских вин — это сочетание даров щедрого южного солнца, благодатной грузинской земли и результат упорного труда гру-

зинского крестьянина. Потребовались сотни лет, прежде чем виноградари Грузии получили новые сорта винограда, пригодные для производства высококачественных вин. Лишь многовековой опыт виноделов дал возможность совершенствовать технологию производства различных типов грузинских вин, ставших в один ряд с лучшими образцами мирового виноделия.

Вопросам истории древнейшей отрасли народного хозяйства республики — виноделия, исследованию его места в экономике Советской Грузии и перспектив дальнейшего развития посвящена вышедшая недавно в издательстве «Заря Востока» книга кандидата экономических наук К. Чарквиани «Виноделие и его место в экономике Советской Грузии».

Уже во введении автор оговаривает, что для целей указанной книги дальний экскурс в историю виноделия представляется излишним, поскольку этот вопрос широко освещен в литературе. Основной целью работы является исследование узловых вопросов экономики виноделия Советской Грузии. Однако, это вызвало необходимость дать также краткий обзор состояния грузинского виноделия за период становления и развития капиталистических отношений в Грузии — с 70-х годов прошлого столетия до 1921 года.

В этой части книги, написанной с глубоким знанием и критическим использованием богатого литературного материала, привлечено множество архивных документов, большинство из которых выявлено исследователем впервые. Так, например, на основе анализа ряда исторических справок автором установлено, что к середине 70-х годов минувшего века виноградники в Грузии занимали приблизительно 62,2 тысячи гектара, а среднегодовой валовой выход вина составлял около 7,6 млн. декалитров.

В книге указывается, что «начало первой мировой войны положило предел наметившемуся подъему виноградарства и виноделия Грузии». Отсутствие должного ухода и всевозможные заболевания уничтожали виноградники. В крайний упадок пришли эти важнейшие отрасли хозяйства республики при меньшевистском господстве.

С первых же дней установления Со-

ветской власти в Грузии особое внимание было уделено восстановлению виноградарства и виноделия. На восстановление виноградников и техническое оснащение виноделия были выделены значительные средства. Уже в 1940 году виноградники в Грузии занимали большую площадь, чем когда-либо раньше, начиная с 70-х годов XIX века, а винограда было собрано свыше 70 тысяч тонн, что превысило среднегодовой урожай 1909—1913 гг.

Наиболее удались автору главы, посвященные послевоенному развитию виноградарства и виноделия Грузии, их экономике и определению места этих отраслей в хозяйстве республики. С большим интересом читаются также разделы книги, в которых изложены возможности расширения сырьевой базы и развития технической базы винодельческой промышленности в нашей республике.

В книге, на мой взгляд, имеются и некоторые недостатки. Например, желательно, чтобы в этой работе больше внимания было уделено такому важному вопросу, как цены на продукцию виноградарства и виноделия и их образование. Подобное исследование могло привести к выводам, имеющим большое значение для всего народного хозяйства республики.

При рассмотрении нынешнего состояния виноделия и виноградарства и перспектив их развития автор пользуется устаревшими наименованиями отдельных уголков Грузии — Кахети, Карти, Имерети и т. д. Это не соответствует ни действующему административному делению территории республики, ни рекомендованной сети районов по зонам сельскохозяйственной специализации.

Названные недочеты не умаляют значения книги, достоинство которой в том, что она с одинаковым интересом будет прочитана и специалистами, и широким кругом читателей.

Подписано к печати 5 октября 1962 г. 6 печ. листов

Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>.

Тираж 2800

УЭ 09196

Цена 40 коп.

ენობალი „ლიტერატურნია გოუზია“

(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის გამოცემლობა „ზარია გოსტოკა“

Типография «Заря Востока» им. А. Ф. Мясникова издательства  
ЦК КП Грузии, Тбилиси, пр. Руставели, № 42.